ЭЛЕКТРОННАЯ

ХРЕСТОМАТИЯ

по учебному предмету

«Русская литература»

9

Оглавление

«Слово о полку Игореве» (досл. перевод Д.С. Лихачева) **4**
«Слово о полку Игореве» (перевод Н.А. Заболоцкого) **21**
Часть первая 23
Часть вторая 31
Часть третья 38
Михаил Васильевич Ломоносов **43**
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, самодержицы всероссийския, 1746 года» 43
Стихотворение «Разговор с Анакреоном» 51
Гавриил Романович Державин **57**
Стихотворение «Властителям и судиям» 57
Стихотворение *«Памятник»* 58
Стихотворение «*Ласточка*» 59
Стихотворение «*Снигирь*» 61
Денис Иванович Фонвизин. Пьеса «*Недоросль*» **62**
Действие второе 69
Действие третье 78
Действие четвертое 91
Действие пятое 103
Николай Михайлович Карамзин. Повесть *«Бедная Лиза»* **111**
Василий Андреевич Жуковский **122**
Стихотворение *«Вечер»* 122
Стихотворение *«Море»* 125
Стихотворение «Сельское кладбище» 126
Баллада «Светлана» 131
Александр Сергеевич Грибоедов. Комедия «Горе от ума» **138**
Действие первое 138
Действие второе 161
Действие третье 186
Действие четвертое 222
Александр Сергеевич Пушкин **244**
Стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» 244
Стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…» 245
Стихотворение «…Вновь я посетил…» 246
Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 248
Стихотворение «К Чаадаеву» 249
Стихотворение «В Сибирь» 250
Стихотворение «19 октября» 251
Стихотворение «Мадона» 256
Стихотворение «Я Вас любил...» 256
Стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» 257
Стихотворение «На холмах Грузии…» 258
Стихотворение «Пророк» 259
Стихотворение «Поэт» 260
Стихотворение «Поэт и толпа» 261

Роман «Евгений Онегин» ... 263
Глава первая ... 264
Глава вторая ... 288
Глава третья ... 305
Письмо Татьяны к Онегину ... 318
Глава четвертая ... 325
Глава пятая ... 343
Глава шестая ... 361
Глава седьмая ... 378
Глава восьмая ... 400
Письмо Онегина к Татьяне ... 413
Михаил Юрьевич Лермонтов ... 422
Стихотворение «Родина» ... 422
Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива...» ... 423
Стихотворение «Прощай, немытая Россия» ... 423
Стихотворение «Дума» ... 424
Стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...» ... 426
Стихотворение «Смерть поэта» ... 428
Роман «Герой нашего времени» ... 430
Часть первая ... 431
Часть вторая (Окончание журнала Печорина) ... 472
Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Шинель» ... 534
Александр Иванович Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» ... 555
Андрей Платонович Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире» 589

«Слово о полку Игореве» (досл. перевод Д.С. Лихачева)

Пристало ли нам, братья,
начать старыми словами
печальные повести о походе Игоревом,
Игоря Святославича?
Пусть начнётся же песнь эта
по былям нашего времени,
а не по замышлению Бояна.
Ибо Боян вещий,
если хотел кому песнь воспеть,
то растекался мыслию по древу,
серым волком по земле,
сизым орлом под облаками.
Вспоминал он, как говорил,
первых времён усобицы.
Тогда напускал десять соколов
на стаю лебедей,
и какую лебедь настигали –
та первой и пела песнь
старому Ярославу,
храброму Мстиславу,
что зарезал Редедю
пред полками касожскими,
прекрасному Роману Святославичу.
Боян же, братия, не десять соколов
на стаю лебедей напускал,
но свои вещие персты
на живые струны воскладал,
а они уже сами князьям славу рокотали.
Начнём же, братья, повесть эту
от старого Владимира до нынешнего Игоря,
который скрепил ум силою своею
и поострил сердце своё мужеством,
исполнившись ратного духа,
навёл свои храбрые полки
на землю Половецкую
за землю Русскую.

Тогда Игорь взглянул
на светлое солнце
и увидел, что оно тьмою
воинов его прикрыло.
И сказал Игорь дружине своей:
«Братья и дружина!
Лучше убитым быть,
чем плененным быть;
так сядем, братья,
на борзых коней
да посмотрим на синий Дон».
Страсть князю ум охватила,
и желание отведать Дон Великий
заслонило ему предзнаменование.
«Хочу, сказал, копье преломить
на границе поля Половецкого,
с вами, русичи, хочу либо голову сложить,
либо шлемом испить из Дона».

О Боян, соловей старого времени!
Вот бы ты походы эти воспел,
скача, соловей, по мысленному древу,
летая умом под облаками,
свивая славу обоих половин этого времени,
рыща по тропе Трояна
через поля на горы.
Так бы пришлось внуку Велеса
воспеть тогда песнь Игорю:
«Не буря соколов занесла
через поля широкие –
стаи галок несутся
к Дону Великому».
Или так запел бы ты,
вещий Боян, Велесов внук:
«Кони ржут за Сулой –
звенит слава в Киеве.
Трубы трубят в Новгороде,
стоят стяги в Путивле!»
Игорь ждет милого брата Всеволода.
И сказал ему буй тур Всеволод:

«Один брат,
один свет светлый –
ты, Игорь!
Оба мы Святославичи!
Седлай же, брат,
своих борзых коней,
а мои-то готовы,
уже оседланы у Курска.
А мои-то куряне опытные воины:
под трубами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены,
пути им ведомы,
овраги им знаемы,
луки у них натянуты,
колчаны отворены;
сами скачут, как серые волки в поле,
ища себе чести, а князю славы».

Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя
и поехал по чистому полю.
Солнце ему тьмою путь заграждало,
ночь стонами грозы птиц пробудила,
свист звериный поднялся,
встрепенулся Див, кличет на вершине дерева,
велит послушать земле неведомой,
Волге,
и Поморью,
и Посулью,
и Сурожу,
и Корсуню,
и тебе, Тмутороканский идол.

А половцы непроторенными дорогам
помчались к Дону Великому.
Кричат телеги в полуночи,
словно лебеди вспугнутые.

А Игорь к Дону войско ведёт!
Уже беду его подстерегают птицы
по дубравам,
волки грозу накликают

по оврагам,
орлы клёкотом зверей на кости зовут,
лисицы брешут на червлёные щиты.

О Русская земля! Уже ты за холмом!
Долго ночь меркнет.
Заря свет зажгла,
мгла поля покрыла,
щекот соловьиный уснул,
говор галочий пробудился.
Русичи великие поля
чевленими щитами перегородили,
ища себе чести, а князю славы.

Спозаранок в пятницу
потоптали они поганые полки половецкие
и, рассыпавшись стрелами по полю,
помчали красных девушек половецких,
а с ними золото, и паволоки,
и дорогие оксамиты.
Покрывалами, и плащами, и кожухами
стали мосты мостить по болотам
и топям,
и дорогими нарядами половецкими.
Червлёный стяг,
белая хоругвь,
червлёный бунчук,
серебряное древко –
храброму Святославичу!

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо.
Далеко залетело!
Не было оно в обиду порождено
ни соколу,
ни кречету,
ни тебе, чёрный ворон,
поганый половец!

Гзак бежит серым волком,
Кончак ему след указывает к Дону Великому.
На другой день спозаранку
кровавые зори свет возвещают,

чёрные тучи с моря идут,
хотят прикрыть четыре солнца,
а в них трепещут синие молнии.
Быть грому великому,
идти дождю стрелами с Дону Великого!
Тут копьям преломиться,
тут саблям побиться
о шеломы половецкие,
на реке Каяле,
у Дона Великого.

О Русская земля! Уже ты за холмом!

Вот ветры, внуки Стрибога, веют с моря стрелами
на храбрые полки Игоря.
Земля гудит,
реки мутно текут,
пыль поля прикрывает,
стяги говорят:
половцы идут от Дона
и от моря
и со всех сторон русские полки обступили.
Дети бесовы кликом поля перегородили,
а храбрые русичи перегородили червлёными щитами.

Ярый тур Всеволод!
Бьёшься ты впереди,
прыщешь на воинов стрелами,
гремишь о шлемы мечами булатными.
Куда, тур, поскачешь,
своим золотым шлемом посвечивая, –
там лежат поганые головы половецкие.
Расщеплены шлемы аварские твоими саблями калёными,
ярый тур Всеволод!
Что тому раны, братья, кто забыл честь и богатство,
и города Чернигова отчий золотой престол,
и своей милой жены, желанной прекрасной Глебовны,
свычаи и обычаи!
Были века Трояновы,
Минули годы Ярославовы,
были и войны Олеговы,
Олега Святославича.

Тот ведь Олег мечом крамолу ковал
и стрелы по земле сеял.
Вступил в золотое стремя в городе Тмуторокани,
а звон тот же слышал давний великий Ярослав,
а сын Всеволода Владимир каждое утро уши закладывал в Чернигове.
А Бориса Вячеславича похвальба на смерть привела,
и на Канине зелёный саван постлала
за обиду Олега,
храброго и молодого князя.
С такой же Каялы и Святополк полелеял отца своего
между венгерскими иноходцами
ко святой Софии к Киеву.
Тогда, при Олеге Гориславиче,
засевалось и прорастало усобицами,
погибало достояние Дажьбожьего внука,
в княжеских крамолах сокращались жизни людские.
Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали,
но часто вороны граяли,
трупы меж собою деля,
а галки по-своему переговаривались,
собираясь полететь на поживу!

То было в те рати и в те походы,
а такой рати не слыхано!
С раннего утра до вечера,
с вечера до света
летят стрелы калёные,
гремят сабли о шлемы,
трещат копья булатные
в поле незнаемом
среди земли Половецкой.
Черна земля под копытами костьми была посеяна,
и кровью полита;
горем взошли они на Русской земле!
Что мне шумит,
что мне звенит
издалёка рано перед зорями?
Игорь полки заворачивает:
жаль ему милого брата Всеволода.
Бились день,
бились другой,
на третий день к полудню пали стяги Игоревы!

Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы;
тут кровавого вина недостало;
тут пир закончили храбрые русичи:
сватов напоили,
а сами полегли за землю Русскую.
Никнет трава от жалости,
а древо с тоской к земле приклонилось.

Уже ведь, братья, невесёлое время настало,
уже пустыня войско прикрыла.
Встала обида в войсках Дажьбожьего внука,
вступила девой на землю Троянову,
восплескала лебедиными крылами
на синем море у Дона, плескаясь,
прогнала времена обилия.
Борьба князей с погаными прервалась,
ибо сказал брат брату:
«Это моё, и то моё же».
И стали князья про малое
«это великое» молвить
и сами на себя крамолу ковать,
а поганые со всех сторон
приходили с победами на землю Русскую.

О, далеко залетел сокол, птиц избивая, – к морю!
А Игорева храброго войска не воскресить!
По нём кликнула Карна, и Желя
поскакала по Русской земле,
горе людям мыкая в пламенном роге.
Жёны русские восплакались, приговаривая:
«Уже нам своих милых лад
ни в мыслях помыслить,
ни думою сдумать,
ни глазами не повидать,
а золота и серебра и пуще того в руках не подержать!»

И застонал, братья, Киев от горя,
а Чернигов от напастей.
Тоска разлилась по Русской земле,
печаль обильная потекла среди земли Русской.
А князья сами на себя крамолу ковали,
а поганые,

победами нарыскивая на Русскую землю,
сами брали дань по белке со двора.

Ибо те два храбрых Святославича,
Игорь и Всеволод,
уже коварство пробудили раздором,
которое перед тем усыпил было отец их,
Святослав грозный великий киевский,
грозою своею,
прибил своими сильными полками
и булатными мечами;
пришёл на землю Половецкую,
притоптал холмы и овраги,
возмутил реки и озёра,
иссушил потоки и болота.
А поганого Кобяка из лукоморья,
из железных великих полков половецких,
словно вихрем исторг,
и пал Кобяк в городе Киеве,
в гриднице Святославовой.
Тут немцы и венецианцы,
тут греки и моравы
поют славу Святославу,
корят князя Игоря,
потопившего богатство на дне Каялы, реки половецкой,
русское золото просыпав.
Тут Игорь князь пересел из золотого седла
в седло рабское.
Приуныли у городов забралы,
и веселие поникло.
А Святослав смутный сон видел
в Киеве на горах.
«Этой ночью с вечера одевали меня, –
говорил, –
чёрным саваном
на кровати тисовой,
черпали мне синее вино,
с горем смешанное,
сыпали мне из пустых колчанов поганых иноземцев
крупный жемчуг на грудь
и нежили меня.
Уже доски без князька

в моём тереме златоверхом.
Всю ночь с вечера
серые вороны граяли у Плесньска на лугу,
были в дебри Кисаней
и понеслись к синему морю».

И сказали бояре князю:
«Уже, князь, горе ум полонило.
Вот слетели два сокола
с отчего золотого престола
добыть города Тмутороканя
либо испить шлемом Дона.
Уже соколам крылья подсекли
саблями поганых,
а самих опутали в путы железные».

Темно было в третий день:
два солнца померкли,
оба багряные столпа погасли
и в море погрузились,
и с ними оба молодых месяца,
Олег и Святослав,
тьмою заволоклись.
На реке на Каяле тьма свет прикрыла:
по Русской земле рассыпались половцы,
точно выводок гепардов,
и великое ликование
пробудили в хиновах.
Уже пал позор на славу;
уже ударило насилие по свободе;
уже бросился Див на землю.
Вот уже готские красные девы
запели на берегу синего моря,
звеня русским золотом:
воспевают время Бусово,
лелеют месть за Шарукана.
А мы уже, дружина, невеселы».
Тогда великий Святослав
изронил золотое слово,
со слезами смешанное,
и сказал:
«О дети мои, Игорь и Всеволод!

Рано начали вы Половецкой земле
мечами обиду творить,
а себе славы искать.
Но без чести для себя вы одолели,
без чести для себя кровь поганую пролили.
Ваши храбрые сердца
из крепкого булата скованы
и в отваге закалены.
Что же сотворили вы моей серебряной седине?
А уж не вижу власти
сильного, и богатого,
и обильного воинами
брата моего Ярослава,
с черниговскими боярами,
с воеводами, и с татранами,
и с шельбирами, и с топчаками,
и с ревугами, и с ольберами.
Они ведь без щитов, с засапожными ножами,
кликом полки побеждают,
звоня в прадедовскую славу.
Но сказали вы: «Помужествуем сами:
прошлую славу себе похитим,
а будущую сами поделим».
А разве дивно, братья, старому помолодеть?
Если сокол в линьке бывает,
то высоко птиц взбивает,
не даст гнезда своего в обиду.
Но вот зло – князья мне не подмога:
худо времена обернулись.
Вот у Римова кричат под саблями половецкими,
а Владимир под ранами.
Горе и тоска сыну Глебову!»
Великий князь Всеволод!
Не думаешь ли ты прилететь издалека
отчий золотой престол поблюсти?
Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать,
а Дон шлемами вычерпать!
Если бы ты был здесь,
то была бы раба по ногате,
а раб по резане.
Ты ведь можешь посуху
живыми шереширами стрелять -
удалыми сынами Глебовыми.

Ты, буйный Рюрик, и Давыд!
Не ваши ли воины
злачёными шлемами в крови плавали?
Не ваша ли храбрая дружина
рыкает, как туры,
ранены саблями калёными,
на поле незнаемом?
Вступите же, господа, в золотое стремя
за обиду нашего времени,
за землю Русскую,
за раны Игоря,
буйного Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав!
Высоко сидишь
на своём златокованом престоле,
подпёр горы Венгерские
своими железными полками,
заступив королю путь,
затворив Дунаю ворота,
меча бремена через облака,
суды рядя до Дуная.
Грозы твои по землям текут,
отворяешь Киеву ворота,
стреляешь с отцовского золотого престола
салтанов за землями.
Стреляй же, господин, Кончака,
поганого раба,
за землю Русскую,
за раны Игоревы,
буйного Святославича!
А ты, буйный Роман, и Мстислав!
Храбрая мысль влечёт ваш ум на подвиг.
Высоко взмываешь на подвиг в отваге,
точно сокол на ветрах паря,
стремясь птицу в смелости одолеть.
Ведь у ваших воинов железные подвязи
под шлемами латинскими.
От них дрогнула земля,
и могие страны -
Хинова,
Литва,

Ятвяги,
Деремела,
и половцы копья свои повергли
и головы свои склонили
под те мечи булатные.
Но уже, о князь Игорь, померк солнца свет,
а дерево не к добру листву сронило:
по Роси и по Суле города поделили.
А Игорева храброго войска не воскресить!
Дон тебя, князь, кличет
и зовёт князей на победу,
Ольговичи, храбрые князья, уже поспели на брань...

Ингвар и Всеволод,
и все три Мстиславича -
не худого гнезда соколы!
Не по праву побед
добыли себе владения!
Где же ваши золотые шлемы
и копья польские
и щиты?
Загородите полю ворота
своими острыми стрелами
за землю Русскую,
за раны Игоревы,
буйного Святославича!
Уже Сула не течёт серебряными струями
к городу Переяславлю,
и Двина болотом течёт
для тех грозных полочан
под кликом поганых.
Один только Изяслав, сын Васильков,
позвенел своими острыми мечами
о шлемы литовские,
прибил славу деда своего Всеслава,

а сам под червлёными щитами
на кровавой траве
литовскими мечами прибит
со своим любимцем,
а тот сказал:

«Дружину твою, князь,
крылья птиц приодели,
а звери кровь полизали».
Не было тут брата Брячислава,
ни другого – Всеволода.
Так в одиночестве изронил жемчужную душу
из храброго тела
через золотое ожерелье.
Приуныли голоса,
поникло веселие,
трубы трубят городенские!
Ярослава все внуки и Всеслава!
Уже склоните стяги свои,
вложите в ножны мечи свои повреждённые,
ибо лишились мы славы дедов.
Своими крамолами
начали вы наводить поганых
на землю Русскую,
на достояние Всеслава.
Из-за усобиц ведь пошло насилие
от земли Половецкой!

На седьмом веке Трояна
кинул Всеслав жребий
о девице ему милой.
Хитростью оперся на коней
и скакнул к городу Киеву,
и коснулся древком
золотого престола киевского.
Отскочил от них лютым зверем
в полночь из Белгорода,
объятый синей мглой, добыл удачу:
в три попытки отворил ворота Новгорода,
расшиб славу Ярославу,
скакнул волком
до Немиги с Дудуток.
А Немиге снопы стелют из голов,
молотят цепами булатными,
на току жизнь кладут,
веют душу от тела.
Немиги кровавые берега
не добром были засеяны,
засеяны костьми русских сынов.

Всеслав-князь людям суд правил,
князьям города рядил,
а сам ночью волком рыскал:
из Киева до петухов дорыскивал до Тмуторокани,
великому Хорсу волком путь перерыскивал.
Ему в Полоцке позвонили к заутрене рано
у святой Софии в колокола,
а он в Киеве звон тот слышал.
Хоть и вещая душа была у него в храбром теле,
но часто от бед страдал.
Ему вещий Боян
ещё давно припевку, разумный, сказал:
«Ни хитрому,
ни умелому,
ни птице умелой
суда божьего не миновать!»

О, стонать Русской земле,
вспоминая
первые времена и первых князей!
Того старого Владимира
нельзя было пригвоздить горам киевским;
а ныне встали стяги Рюриковы,
а другие – Давыдовы,
но врозь их знамёна развеваются.
Копья поют!

На Дунае Ярославнин голос слышится,
кукушкою безвестною рано кукует:
«Полечу, говорит, - кукушкою по Дунаю,
омочу шелковый рукав в Каяле-реке,
утру князю кровавые его раны
на могучем его теле».
Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале, приговаривая:
«О ветер, ветрило!
Зачем, господин, веешь ты навстречу?
Зачем мчишь хиновские стрелочки
на своих легких крыльицах
на воинов моего милого?
Разве мало тебе бы под облаками веять,
лелея корабли на синем море?

Зачем, господин, мое веселье по ковылю развеял?"
Ярославна рано плачет
в Путивле-городе на забрале, приговаривая:
«О Днепр Словутич!
Ты пробил каменные горы сквозь землю Половецкую.
Ты лелеял на себе Святославовы насады
до стана Кобякова.
Прилелей же, господин, моего милого ко мне,
чтобы не слала я к нему слез
на море рано!»

Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале, приговаривая:
«Светлое и трижды светлое солнце!
Всем ты тепло и прекрасно:
зачем, владыко, простерло ты горячие свои лучи
на воинов моего лады?
В поле безводном жаждою им луки скрутило,
горем им колчаны заткнуло?»
Прыснуло море в полуночи;
идут смерчи тучами.
Игорю князю бог путь указывает
из земли Половецкой
в землю Русскую, к отчему золотому столу.
Погасли вечером зори.
Игорь спит,
Игорь бдит,
Игорь мыслью поля мерит
от великого Дону до малого Донца.
Коня в полночь Овлур свистнул за рекою;
велит князю разуметь: не быть Игорю в плену.

Кликнула,
стукнула земля,
зашумела трава,
вежи половецкие задвигались.
А Игорь князь поскакал
горностаем к тростнику
и белым гоголем на воду.
Вскочил на борзого коня
и соскочил с него серым волком.
И побежал к излучине Донца,

и полетел соколом под облаками,
избивая гусей и лебедей
к завтраку,
и обеду,
и ужину.
Когда Игорь соколом полетел,
тогда Овлур волком побежал,
стряхивая собою студеную росу:
Оба ведь надорвали своих борзых коней.

Донец говорит:
«О Князь Игорь!
Немало тебе величия, а Кончаку нелюбия,
а Русской земле веселия!»
Игорь говорит:
«О Донец! Немало тебе величия,
лелеявшему князя на волнах,
стлавшему ему зеленую траву
на своих серебряных берегах,
одевавшему его теплыми туманами
под сенью зеленого дерева;
ты стерег его гоголем на воде,
чайками на струях,
чернядями на ветрах».

Не такова-то, говорит он, река Стугна:
скудную струю имея,
поглотив чужие ручьи и потоки,
расширенная к устью,
юношу князя Ростислава заключила.

На темном берегу Днепра
плачет мать Ростислава
по юноше князе Ростиславе.
Уныли цветы от жалости,
и дерево с тоской земле приклонились.

То не сороки застрекотали –
по следу Игоря едут Гзак с Кончаком.
Тогда вороны не граяли,
галки примолкли,
сороки не стрекотали,
только полозы ползали.
Дятлы стуком путь кажут к реке,

да соловьи веселыми песнями
рассвет возвещают.

Говорит Гзак Кончаку:
«Если сокол к гнезду летит,
расстреляем соколенка
своими золочеными стрелами».
Говорит Кончак Гзаку:
«Если сокол к гнезду летит,
То опутаем мы соколенка
красною девицей».
И сказал Гзак Кончаку:
«Коли опутаем его красною девицей,
не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы,
и станут нас птицы бить
в поле Половецком».

Сказали Боян и Ходына,
Святославовы песнотворцы
старого времени Ярослава,
и Олега-князя любимцы:
«Тяжко голове без плеч,
беда и телу без головы» –
так и Русской земле без Игоря.

Солнце светится на небе, –
а Игорь князь в Русской земле.
Девицы поют на Дунае, –
вьются голоса их через море до Киева.
Игорь едет по Боричеву
ко святой богородице Пирогощей.
Села рады, грады веселы.

Певши песнь старым князьям,
потом и молодым петь:
«Слава Игорю Святославичу,
Буй туру Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!

Здравы будьте, князья и дружина,
Борясь за христиан
против нашествий поганых!
Князьям слава и дружине!
Аминь.»

«Слово о полку Игореве» (перевод Н.А. Заболоцкого)

О походе Игоревом слово,
Чтоб старинной речью рассказать
Про деянья князя удалого?
А воспеть нам, братия, его —
В похвалу трудам его и ранам —
По былинам времени сего,
Не гоняясь в песне за Бояном.
Тот Боян, исполнен дивных сил,
Приступая к вещему напеву,
Серым волком по полю кружил,
Как орел, под облаком парил,
Растекался мыслию по древу.
Жил он в громе дедовских побед,
Знал немало подвигов и схваток,
И на стадо лебедей чуть свет
Выпускал он соколов десяток.
И. встречая в воздухе врага,
Начинали соколы расправу,
И взлетала лебедь в облака,
И трубила славу Ярославу.
Пела древний киевский престол,
Поединок славила старинный,
Где Мстислав Редедю заколол
Перед всей касожскою дружиной,
И Роману Красному хвалу
Пела лебедь, падая во мглу.
Но не десять соколов пускал
Наш Боян, но, вспомнив дни былые,
Вещие персты он подымал
И на струны возлагал живые. —
Вздрагивали струны, трепетали,
Сами князям славу рокотали.

Мы же по иному замышленью
Эту повесть о године бед
Со времен Владимира княженья
Доведем до Игоревых лет
И прославим Игоря, который,
Напрягая разум, полный сил.
Мужество избрал себе опорой.

Ратным духом сердце поострил
И повел полки родного края.
Половецким землям угрожая.

О Боян, старинный соловей!
Приступая к вещему напеву,
Если б ты о битвах наших дней
Пел, скача по мысленному древу;
Если б ты, взлетев под облака,
Нашу славу с дедовскою славой
Сочетал на долгие века,
Чтоб прославить сына Святослава;
Если б ты Трояновой тропой
Средь полей помчался и курганов, —
Так бы ныне был воспет тобой
Игорь-князь, могучий внук Троянов:
«То не буря соколов несет
За поля широкие и долы,
То не стаи галочьи летят
К Дону на великие просторы!»
Или так воспеть тебе,
Боян, Внук Велесов, наш военный стан:
«За Сулою кони ржут.
Слава в Киеве звенит,
В Новеграде трубы громкие трубят,
Во Путивле стяги бранные стоят!»

Часть первая

1

Игорь-князь с могучею дружиной
Мила брата Всеволода ждет.
Молвит буй тур Всеволод: «Единый
Ты мне брат, мой Игорь, и оплот!
Дети Святослава мы с тобою,
Так седлай же борзых коней, брат!
А мои, давно готовы к бою,
Возле Курска под седлом стоят.

2

А куряне славные —
Витязи исправные:
Родились под трубами,
Росли под шеломами,
Выросли как воины,
С конца копья вскормлены.
Все пути им ведомы,
Все яруги знаемы,
Луки их натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли их наточены,
Шеломы позолочены.
Сами скачут по полю волками
И, всегда готовые к борьбе,
Добывают острыми мечами
Князю – славы, почестей – себе!»

3

Но, взглянув на солнце в этот день,
Подивился Игорь на светило:
Середь бела дня ночная тень
Ополченья русские покрыла.
И, не зная, что сулит судьбина.
Князь промолвил: «Братья и дружина!
Лучше быть убиту от мечей.
Чем от рук поганых полонёну!
Сядем, братья, на лихих коней
Да посмотрим синего мы Дону!»
Вспала князю эта мысль на ум —
Искусить неведомого края,

И сказал он, полон ратных дум,
Знаменьем небес пренебрегая:
«Копие хочу я преломить
В половецком поле незнакомом,
С вами, братья, голову сложить
Либо Дону зачерпнуть шеломом!»

4

Игорь-князь во злат стремень вступает.
В чистое он поле выезжает.
Солнце тьмою путь ему закрыло,
Ночь грозою птиц перебудила,
Свист зверей несется, полон гнева,
Кличет Див над ним с вершины древа,
Кличет Див, как половец в дозоре,
За Суду, на Сурож, на Поморье,
Корсуню и всей округе ханской,
И тебе, болван тмутороканский!

5

И бегут, заслышав о набеге,
Половцы сквозь степи и яруги,
И скрипят их старые телеги,
Голосят, как лебеди в испуге.
Игорь к Дону движется с полками,
А беда несется вслед за ним:
Птицы, поднимаясь над дубами,
Реют с криком жалобным своим.
По оврагам волки завывают,
Крик орлов доносится из мглы —
Знать, на кости русские скликают
Зверя кровожадные орлы;
Уж лиса на щит червленый брешет,
Стон и скрежет в сумраке ночном…
О Русская земля!
Ты уже за холмом.

6

Долго длится ночь. Но засветился
Утренними зорями восток.
Уж туман над полем заклубился,
Говор галок в роще пробудился,

Соловьиный щекот приумолк.
Русичи, сомкнув щиты рядами,
К славной изготовились борьбе,
Добывая острыми мечами
Князю – славы, почестей – себе.

7

На рассвете, в пятницу, в туманах,
Стрелами по полю полетев,
Смяло войско половцев поганых
И умчало половецких дев.
Захватили золота без счета,
Груду аксамитов и шелков,
Вымостили топкие болота
Япанчами красными врагов.
А червленый стяг с хоругвью белой,
Челку и копье из серебра
Взял в награду Святославич смелый,
Не желая прочего добра.

8

Выбрав в поле место для ночлега
И нуждаясь в отдыхе давно,
Спит гнездо бесстрашное Олега —
Далеко подвинулось оно!
Залетело, храброе, далече,
И никто ему не господин —
Будь то сокол, будь то гордый кречет.
Будь то черный ворон – половчин.
А в степи, с ордой своею дикой
Серым волком рыская чуть свет,
Старый Гзак на Дон бежит великий,
И Кончак спешит ему вослед.

9

Ночь прошла, и кровяные зори
Возвещают бедствие с утра.
Туча надвигается от моря
На четыре княжеских шатра.
Чтоб четыре солнца не сверкали,
Освещая Игореву рать,
Быть сегодня грому на Каяле,

Лить дождю и стрелами хлестать!
Уж трепещут синие зарницы,
Вспыхивают молнии кругом.
Вот где копьям русским преломиться.
Вот где саблям острым притупиться,
Загремев о вражеский шелом!
О Русская земля!
Ты уже за холмом.

10

Вот Стрибожьи вылетели внуки —
Зашумели ветры у реки,
И взметнули вражеские луки
Тучу стрел на русские полки.
Стоном стонет мать-земля сырая,
Мутно реки быстрые текут,
Пыль несется, поле покрывая.
Стяги плещут: половцы идут!
С Дона, с моря с криками и с воем
Валит враг, но, полон ратных сил,
Русский стан сомкнулся перед боем
Щит к щиту – и степь загородил.

11

Славный яр тур Всеволод! С полками
В обороне крепко ты стоишь,
Прыщешь стрелы, острыми клинками
О шеломы ратные гремишь.
Где ты ни проскачешь, тур, шеломом
Золотым посвечивая, там
Шишаки земель аварских с громом
Падают, разбиты пополам.
И слетают головы с поганых,
Саблями порублены в бою.
И тебе ли, тур, скорбеть о ранах,
Если жизнь не ценишь ты свою!
Если ты на ратном этом поле
Позабыл о славе прежних дней,
О златом черниговском престоле,
О желанной Глебовне своей!

12

Были, братья, времена Трояна,
Миновали Ярослава годы,
Позабылись правнуками рано
Грозные Олеговы походы.
Тот Олег мечом ковал крамолу,
Пробираясь к отчему престолу,
Сеял стрелы и, готовясь к брани,
В злат стремень вступал в Тмуторокани,
В злат стремень вступал, готовясь к сече.
Звон тот слушал Всеволод далече,
А Владимир за своей стеною
Уши затыкал перед бедою.

13

А Борису, сыну Вячеслава,
Зелен саван у Канина брега
Присудила воинская слава
За обиду храброго Олега.
На такой же горестной Каяле,
Укрепив носилки между вьюков,
Святополк отца увез в печали,
На конях угорских убаюкав.
Прозван Гориславичем в народе,
Князь Олег пришел на Русь как ворог.
Внук Дажьбога бедствовал в походе,
Век людской в крамолах стал недолог.
И не стало жизни нам богатой,
Редко в поле выходил оратай,
Вороны над пашнями кружились,
На убитых с криками садились,
Да слетались галки на беседу,
Собираясь стаями к обеду…
Много битв в те годы отзвучало.
Но такой, как эта, не бывало.

14

Уж с утра до вечера и снова
С вечера до самого утра
Бьется войско князя удалого,
И растет кровавых тел гора.
День и ночь над полем незнакомым
Стрелы половецкие свистят,

Сабли ударяют по шеломам,
Копья харалужные трещат.
Мертвыми усеяно костями,
Далеко от крови почернев,
Задымилось поле под ногами,
И взошел великими скорбями
На Руси кровавый тот посев.

15

Что там шумит,
Что там звенит
Далеко во мгле, перед зарею?
Игорь, весь израненный, спешит
Беглецов вернуть обратно к бою.
Не удержишь вражескую рать!
Жалко брата Игорю терять.
Бились день. рубились день-другой,
В третий день к полудню стяги пали,
И расстался с братом брат родной
На реке кровавой, на Каяле.
Недостало русичам вина.
Славный пир дружины завершили —
Напоили сватов допьяна,
Да и сами головы сложили.
Степь поникла, жалости полна,
И деревья ветви приклонили.

16

И настала тяжкая година,
Поглотила русичей чужбина,
Поднялась Обида от курганов
И вступила девой в край Троянов.
Крыльями лебяжьими всплеснула,
Дон и море оглашая криком,
Времена довольства пошатнула,
Возвестив о бедствии великом.
А князья дружин не собирают.
Не идут войной на супостата,
Малое великим называют
И куют крамолу брат на брата.
А враги на Русь несутся тучей,
И повсюду бедствие и горе.
Далеко ты, сокол наш могучий,
Птиц бия, ушел на сине море!

17

Не воскреснуть Игоря дружине,
Не подняться после грозной сечи!
И явилась Карна и в кручине
Смертный вопль исторгла, и далече
Заметалась Желя по дорогам,
Потрясая искрометным рогом.
И от края, братья, и до края
Пали жены русские, рыдая:
«Уж не видеть милых лад нам боле!
Кто разбудит их на ратном поле?
Их теперь нам мыслию не смыслить,
Их теперь нам думою не сдумать,
И не жить нам в тереме богатом,
Не звенеть нам серебром да златом!»

18

Стонет, братья, Киев над горою,
Тяжела Чернигову напасть,
И печаль обильною рекою
По селеньям русским разлилась.
И нависли половцы над нами,
Дань берут по белке со двора,
И растет крамола меж князьями,
И не видно от князей добра.

19

Игорь-князь и Всеволод отважный
Святослава храбрые сыны —
Вот ведь кто с дружиною бесстрашной
Разбудил поганых для войны!
А давно ли, мощною рукою
За обиды наших покарав,
Это зло великое грозою
Усыпил отец их, Святослав!
Был он грозен в Киеве с врагами
И поганых ратей не щадил —
Устрашил их сильными полками,
Порубил булатными мечами
И на Степь ногою наступил.
Потоптал холмы он и яруги,
Возмутил теченье быстрых рек,

Иссушил болотные округи,
Степь до лукоморья пересек.
А того поганого Кобяка
Из железных вражеских рядов
Вихрем вырвал – и упал, собака,
В Киеве, у княжьих теремов.

20

Венецейцы, греки и морава
Что ни день о русичах поют,
Величают князя Святослава.
Игоря отважного клянут.
И смеется гость земли немецкой,
Что, когда не стало больше сил.
Игорь-князь в Каяле половецкой
Русские богатства утопил.
И бежит молва про удалого,
Будто он, на Русь накликав зло.
Из седла, несчастный, золотого
Пересел в кощеево седло…
Приумолкли города, и снова
На Руси веселье полегло.

Часть вторая

1

В Киеве далеком, на горах,
Смутный сон приснился Святославу,
И объял его великий страх,
И собрал бояр он по уставу.
«С вечера до нынешнего дня, —
Молвил князь, поникнув головою, —
На кровати тисовой меня
Покрывали черной пеленою.
Черпали мне синее вино,
Горькое отравленное зелье,
Сыпали жемчуг на полотно
Из колчанов вражьего изделья.
Златоверхий терем мой стоял
Без конька, и, предвещая горе,
Вражий ворон в Плесенске кричал
И летел, шумя, на сине море».

2

И бояре князю отвечали:
«Смутен ум твой, княже, от печали.
Не твои ль два сокола, два чада
Поднялись над полем незнакомым
Поискать Тмуторокани-града
Либо Дону зачерпнуть шеломом?
Да напрасны были их усилья.
Посмеявшись на твои седины,
Подрубили половцы им крылья,
А самих опутали в путины».

3

В третий день окончилась борьба
На реке кровавой, на Каяле,
И погасли в небе два столба,
Два светила в сумраке пропали.
Вместе с ними, за море упав,
Два прекрасных месяца затмились
Молодой Олег и Святослав
В темноту ночную погрузились.
И закрылось небо, и погас
Белый свет над Русскою землею,

И. как барсы лютые, на нас
Кинулись поганые с войною.
И воздвиглась на Хвалу Хула,
И на волю вырвалось Насилье,
Прянул Див на землю, и была
Ночь кругом и горя изобилье:

4

Девы готские у края
Моря синего живут.
Русским золотом играя,
Время Бусово поют.
Месть лелеют Шаруканыо,
Нет конца их ликованью…
Нас же, братия-дружина,
Только беды стерегут.

5

И тогда великий Святослав
Изронил свое златое слово.
Со слезами смешано, сказав:
«О сыны, не ждал я зла такого!
Загубили юность вы свою,
На врага не вовремя напали,
Не с великой честию в бою
Вражью кровь на землю проливали.
Ваше сердце в кованой броне
Закалилось в буйстве самочинном.
Что ж вы, дети, натворили мне
И моим серебряным сединам?
Где мой брат, мой грозный Ярослав,
Где его черниговские слуги,
Где татраны, жители дубрав,
Топчаки, ольберы и ревуги?
А ведь было время – без щитов.
Выхватив ножи из голенища,
Шли они на полчища врагов,
Чтоб отметить за наши пепелища.
Вот где славы прадедовской гром!
Вы ж решили бить наудалую:
«Нашу славу силой мы возьмем,
А за ней поделим и былую».

Диво ль старцу – мне помолодеть?
Старый сокол, хоть и слаб он с виду,
Высоко заставит птиц лететь,
Никому не даст гнезда в обиду.
Да князья помочь мне не хотят,
Мало толку в силе молодецкой.
Время, что ли. двинулось назад?
Ведь под самым Римовом кричат
Русичи под саблей половецкой!
И Владимир в ранах, чуть живой, —
Горе князю в сече боевой!»

6

Князь великий Всеволод! Доколе
Муки нам великие терпеть?
Не тебе ль на суздальском престоле
О престоле отчем порадеть?
Ты и Волгу веслами расплещешь,
Ты шеломом вычерпаешь Дон,
Из живых ты луков стрелы мечешь,
Сыновьями Глеба окружен.
Если б ты привел на помощь рати,
Чтоб врага не выпустить из рук, —
Продавали б девок по ногате,
А рабов – по резани на круг.

7

Вы, князья буй Рюрик и Давид!
Смолкли ваши воинские громы.
А не ваши ль плавали в крови
Золотом покрытые шеломы?
И не ваши ль храбрые полки
Рыкают, как туры, умирая
От каленой сабли, от руки
Ратника неведомого края?
Встаньте, государи, в злат стремень
За обиду в этот черный день,
За Русскую землю,
За Игоревы раны —
Удалого сына Святославича!

8

Ярослав, князь Галицкий! Твой град
Высоко стоит под облаками.
Оседлал вершины ты Карпат
И подпер железными полками.
На своем престоле золотом
Восемь дел ты, князь, решаешь разом,
И народ зовет тебя кругом
Осмомыслом – за великий разум.
Дверь Дуная заперев на ключ,
Королю дорогу заступая,
Бремена ты мечешь выше туч,
Суд вершишь до самого Дуная.
Власть твоя по землям потекла.
В киевские входишь ты пределы,
И в салтанов с отчего стола
Ты пускаешь княжеские стрелы.
Так стреляй в Кончака. государь,
С дальних гор на ворога ударь
За Русскую землю,
За Игоревы раны —
Удалого сына Святославича!

9

Вы, князья Мстислав и буй Роман!
Мчит ваш ум на подвиг мысль живая,
И несетесь вы на вражий стан,
Соколом ширяясь сквозь туман,
Птицу в буйстве одолеть желая.
Вся в железе княжеская грудь,
Золотом шелом латинский блещет,
И повсюду, где лежит ваш путь,
Вся земля от тяжести трепещет.
Хинову вы били и Литву;
Деремела, половцы, ятвяги,
Бросив копья, пали на траву
И склонили буйную главу
Под мечи булатные и стяги.

10

Но уж прежней славы больше с нами нет.
Уж не светит Игорю солнца ясный свет.

Не ко благу дерево листья уронило:
Поганое войско грады поделило.
По Суле, по Роси счету нет врагу.
Не воскреснуть Игореву храброму полку!
Дон зовет нас, княже, кличет нас с тобой!
Ольговичи храбрые одни вступили в бой.

11

Князь Ингварь, князь Всеволод!
И вас Мы зовем для дальнего похода,
Трое ведь Мстиславичей у нас,
Шестокрыльцев княжеского рода!
Не в бою ли вы себе честном
Города и волости достали?
Где же ваш отеческий шелом,
Верный щит, копье из ляшской стали?
Чтоб ворота Полю запереть,
Вашим стрелам время зазвенеть
За Русскую землю,
За Игоревы раны —
Удалого сына Святославича!

12

Уж не течет серебряной струею
К Переяславлю-городу Сула.
Уже Двина за полоцкой стеною
Под клик поганых в топи утекла.
Но Изяслав, Васильков сын, мечами
В литовские шеломы позвонил,
Один с своими храбрыми полками
Всеславу-деду славы прирубил.
И сам, прирублен саблею каленой,
В чужом краю, среди кровавых трав,
Кипучей кровью в битве обагренный,
Упал на щит червленый, простонав:
«Твою дружину, княже. приодели
Лишь птичьи крылья у степных дорог,
И полизали кровь на юном теле
Лесные звери, выйдя из берлог».
И в смертный час на помощь храбру мужу
Никто из братьев в бой не поспешил.
Один в степи свою жемчужну душу

Из храброго он тела изронил.
Через златое, братья, ожерелье
Ушла она. покинув свой приют.
Печальны песни, замерло веселье,
Лишь трубы городенские поют…

13

Ярослав и правнуки Всеслава!
Преклоните стяги! Бросьте меч!
Вы из древней выскочили славы,
Коль решили честью пренебречь.
Это вы раздорами и смутой
К нам на Русь поганых завели,
И с тех пор житья нам нет от лютой
Половецкой проклятой земли!

14

Шел седьмой по счету век Троянов.
Князь могучий полоцкий Всеслав
Кинул жребий, в будущее глянув,
О своей любимой загадав.
Замышляя новую крамолу,
Он опору в Киеве нашел,
И примчался к древнему престолу,
И копьем ударил о престол.
Но не дрогнул старый княжий терем.
И Всеслав, повиснув в синей мгле,
Выскочил из Белгорода зверем —
Не жилец на киевской земле.
И, звеня секирами на славу,
Двери новгородские открыл,
И расшиб он славу Ярославу,
И с Дудуток через лес-дубраву
До Немиги волком проскочил.
А на речке, братья, на Немиге
Княжью честь в обиду не дают:
День и ночь снопы кладут на риге —
Не снопы, а головы кладут.
Не цепом – мечом своим булатным
В том краю молотит земледел,
И кладет он жизнь на поле ратном,
Веет душу из кровавых тел.

Берега Немиги той проклятой
Почернели от кровавых трав —
Не добром засеял их оратай,
А костями русскими – Всеслав.

15

Тот Всеслав людей судом судил,
Города Всеслав князьям делил,
Сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане.
Вечер – в Киеве, до зорь – в Тмуторокани,
Словно волк, напав на верный путь.
Мог он Хорсу бег пересягнуть.

16

У Софии в Полоцке, бывало,
Позвонят к заутрене, а он
В Киеве, едва заря настала,
Колокольный слышит перезвон.
И хотя в его могучем теле
Обитала вещая душа,
Все ж страданья князя одолели,
И погиб он, местию дыша.
Так свершил он путь свой небывалый.
И сказал Боян ему тогда:
«Князь Всеслав! Ни мудрый, ни удалый
Не минуют божьего суда».

17

О, стонать тебе, земля родная,
Прежние годины вспоминая
И князей давно минувших лет!
Старого Владимира уж нет.
Был он храбр, и никакая сила
К Киеву б его не пригвоздила.
Кто же стяги древние хранит?
Эти – Рюрик носит, те – Давыд,
Но не вместе их знамена плещут,
Врозь поют их копия и блещут.

Часть третья

1

Над широким берегом Дуная,
Над великой Галицкой землей
Плачет, из Путивля долетая.
Голос Ярославны молодой;
«Обернусь я, бедная, кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,
Наклонясь, в Каяле омочу.
Улетят, развеются туманы,
Приоткроет очи Игорь-князь,
И утру кровавые я раны,
Над могучим телом наклонясь».
Далеко в Путивле, на забрале,
Лишь заря займется поутру,
Ярославна, полная печали,
Как кукушка, кличет на юру:
«Что ты, Ветер, злобно повеваешь,
Что клубишь туманы у реки,
Стрелы половецкие вздымаешь,
Мечешь их на русские полки?
Чем тебе не любо на просторе
Высоко под облаком летать,
Корабли лелеять в синем море,
За кормою волны колыхать?
Ты же, стрелы вражеские сея,
Только смертью веешь с высоты.
Ах, зачем, зачем мое веселье
В ковылях навек развеял ты?»
На заре в Путивле причитая,
Как кукушка раннею весной,
Ярославна кличет молодая,
На стене рыдая городской:
«Днепр мой славный! Каменные горы
В землях половецких ты пробил,
Святослава в дальние просторы
До полков Кобяковых носил.
Возлелей же князя, господине,
Сохрани на дальней стороне,
Чтоб забыла слезы я отныне,
Чтобы жив вернулся он ко мне!»

Далеко в Путивле, на забрале,
Лишь заря займется поутру,
Ярославна, полная печали,
Как кукушка, кличет на юру:
«Солнце трижды светлое! С тобою
Каждому приветно и тепло.
Что ж ты войско князя удалое
Жаркими лучами обожгло?
И зачем в пустыне ты безводной
Под ударом грозных половчан
Жаждою стянуло лук походный,
Горем переполнило колчан?»

2

И взыграло море. Сквозь туман
Вихрь промчался к северу родному —
Сам господь из половецких стран
Князю путь указывает к дому.
Уж погасли зори. Игорь спит —
Дремлет Игорь, но не засыпает.
Игорь к Дону мыслями летит,
До Донца дорогу измеряет.
Вот уж полночь. Конь давно готов.
Кто свистит в тумане за рекою?
То Овлур. Его условный зов
Слышит князь, укрытый темнотою:
«Выходи, князь Игорь!» И едва
Смолк Овлур, как от ночного гула

Вздрогнула земля,
Зашумела трава,
Буйным ветром вежи всколыхнуло.

В горностая-белку обратясь,
К тростникам помчался Игорь-князь

И поплыл, как гоголь, по волне,
Полетел, как ветер, на коне.

Конь упал, и князь с коня долой,
Серым волком скачет он домой.
Словно сокол, вьется в облака,
Увидав Донец издалека.

Без дорог летит и без путей,
Бьет к обеду уток-лебедей.

Там, где Игорь соколом летит,
Там Овлур, как серый волк, бежит,

Все в росе от полуночных трав,
Борзых коней в беге надорвав.

3

Уж не каркнет ворон в поле,
Уж не крикнет галка там.
Не трещат сороки боле,
Только скачут по кустам.
Дятлы. Игоря встречая.
Стуком кажут путь к реке,
И, рассвет веселый возвещая.
Соловьи ликуют вдалеке.

4

И, на волнах витязя лелея.
Рек Донец: «Велик ты, Игорь-князь!
Русским землям ты принес веселье,
Из неволи к дому возвратясь». —
«О река! – ответил князь, – немало
И тебе величья! В час ночной
Ты на волнах Игоря качала,
Берег свой серебряный устлала
Для него зеленою травой.
И, когда дремал он под листвою,
Где царила сумрачная мгла,
Страж ему был гоголь над водою.
Чайка князя в небе стерегла.

5

А не всем рекам такая слава.
Вот Стугна, худой имея нрав,
Разлилась близ устья величаво,
Все ручьи соседние пожрав.
И закрыла Днепр от Ростислава,
И погиб в пучине Ростислав.
Плачет мать над темною рекою,

Кличет сына-юношу во мгле,
И цветы поникли, и с тоскою
Приклонилось дерево к земле».

6

Не сороки во поле стрекочут,
Не вороны кличут у Донца —
Кони половецкие топочут,
Гзак с Кончаком ищут беглеца.
И сказал Кончаку старый Гзак:
«Если сокол улетает в терем,
Соколенок попадет впросак —
Золотой стрелой его подстрелим».
И тогда сказал ему Кончак:
«Если сокол к терему стремится,
Соколенок попадет впросак —
Мы его опутаем девицей». —
«Коль его опутаем девицей, —
Отвечал Кончаку старый Гзак, —
Он с девицей в терем свой умчится,
И начнет нас бить любая птица
В половецком поле, хан Кончак!»

7

И изрек Боян, чем кончить речь
Песнотворцу князя Святослава:
«Тяжко, братья, голове без плеч,
Горько телу, коль оно безглаво».
Мрак стоит над Русскою землей:
Горько ей без Игоря одной.

8

Но восходит солнце в небеси —
Игорь-князь явился на Руси.
Вьются песни с дальнего Дуная,
Через море в Киев долетая.
По Боричеву восходит удалой
К Пирогощей богородице святой.
И страны рады,
И веселы грады.
Пели песню старым мы князьям,
Молодых настало время славить нам:

Слава князю Игорю,
Буй тур Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!
Слава всем, кто, не жалея сил.
За христиан полки поганых бил!
Здрав будь, князь, и вся дружина здрава!
Слава князям и дружине слава!

Михаил Васильевич Ломоносов

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, самодержицы всероссийския, 1746 года»[1]

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сёл, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Своё богатство по земли.

Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор возводит,
Но краше в свете не находит
Елисаветы и тебя.
Ты кроме той всего превыше;
Душа ее зефира тише,
И зрак прекраснее рая.

Когда на трон она вступила,
Как вышний подал ей венец,
Тебя в Россию возвратила,
Войне поставила конец[2];
Тебя прияв облобызала:
Мне полно тех побед, сказала,
Для коих крови льется ток.
Я россов счастьем услаждаюсь,

---

[1] Написано после 13 августа 1747 г., когда в Академическом собрании был оглашен новый устав и утверждены новые штаты Академии наук. Ломоносов связывал с новым уставом надежды на успешное развитие наук в России и улучшение положения ученых. В этой же оде он выступает как поборник мирной политики, так как в это время западные державы стремились втянуть Россию в войну на стороне Австрии, Англии и Голландии против Франции и Пруссии. Поэтому Ломоносов особенно настойчиво славит мир (возлюбленную тишину).

[2] Вступив на престол, Елизавета начала мирные переговоры со Швецией. Война со шведами 1741—1743 гг. закончилась несколько месяцев спустя после коронации Елизаветы.

Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток.

Божественным устам приличен,
Монархиня, сей кроткий глас:
О коль достойно возвеличен
Сей день и тот блаженный час,
Когда от радостной премены
Петровы возвышали стены
До звёзд плескание и клик!
Когда ты крест несла рукою[3]
И на престол взвела с собою
Доброт твоих прекрасный лик!

Чтоб слову с оными сравняться,
Достаток силы нашей мал;
Но мы не можем удержаться
От пения твоих похвал.
Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает;
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр.

Молчите, пламенные звуки[4],
И колебать престаньте свет;
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.
Вы, наглы вихри, не дерзайте
Реветь, но кротко разглашайте
Прекрасны наши времена.
В безмолвии внимай, вселенна:
Се хощет лира восхищенна
Гласить велики имена.
Ужасный чудными делами
Зиждитель мира искони

---

[3] Ломоносов напоминает Елизавете о том, как начался дворцовый переворот 25 ноября 1741 г., приведший ее к власти. Она вышла к преображенцам с крестом в руке и привела их к присяге как государыня.

[4] Метафорическое определение войны.

Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни;
Послал в Россию Человека,
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства он вознес
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью попранну,
С собой возвысил до небес.

В полях кровавых Марс страшился,
Свой меч в Петровых зря руках,
И с трепетом Нептун чудился,
Взирая на российский флаг.
В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева рекла:
«Или я ныне позабылась
И с оного пути склонилась,
Которым прежде я текла?»[5]

Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
К сему монарху говоря:
«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к себе их призывает[6],
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды.

Но ах, жестокая судьбина!
Бессмертия достойный муж,
Блаженства нашего причина,
К несносной скорби наших душ
Завистливым отторжен роком[7],
Нас в плаче погрузил глубоком!

---

[5] Нева как бы не узнает своих берегов в том месте, где вырос Санкт-Петербург.

[6] Задумав основать Академию наук, Петр I вел переговоры с крупнейшими учеными Европы (Лейбницем, Вольфом и др.) в целях привлечения их в Россию

[7] Петр I умер в год открытия Петербургской Академии наук.

Внушив рыданий наших слух,
Верьхи Парнасски восстенали,
И музы воплем провождали
В небесну дверь пресветлый дух.

В толикой праведной печали
Сомненный их смущался путь;
И токмо шествуя желали
На гроб и на дела взглянуть.
Но кроткая Екатерина[8],
Отрада по Петре едина,
Приемлет щедрой их рукой.
Ах, если б жизнь ее продлилась,
Давно б Секвана[9] постыдилась
С своим искусством пред Невой!

Какая светлость окружает
В толикой горести Парнас?
О коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший глас!
Все холмы покрывают лики;
В долинах раздаются клики:
Великая Петрова дщерь
Щедроты отчи превышает,
Довольство муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь.

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет;
Но ратники, ему подвластны,
Всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешает
Плачевный побежденных стон.
Сия тебе единой слава,

---

[8] Имеется ввиду Екатерина I, вдова Петра I. При ней 27 декабря 1725 года была открыта Петербургская Академия наук.

[9] Намек на французскую академию наук в Париже.

Монархиня, принадлежит,
Пространная твоя держава
О как тебе благодарит!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветет.

Толикое земель пространство
Когда всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Индия;
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук.
Сие злату очистит жилу;
Почувствуют и камни силу[10]
Тобой восставленных наук.

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми борей крылами
Твои взвевает знамена;
Но бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами:
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял;

[10] Ломоносов доказывал, что Россия не менее богата минералами, чем «теплые страны» (Индия и др.).

Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

Широкое открыто поле,
Где музам путь свой простирать!
Твоей великодушной воле
Что можем за сие воздать?
Мы дар твой до небес прославим
И знак щедрот твоих поставим,
Где солнца всход и где Амур
В зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
В твою державу от Манжур[11].

Се мрачной вечности запону
Надежда отверзает нам!
Где нет ни правил, ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм;
Невежество пред ней бледнеет.
Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб российский через воды[12]
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.

Там, тьмою островов посеян,
Реке подобен Океан[13];
Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран.
Там тучи разных птиц летают,
Что пестротою превышают
Одежду нежныя весны;
Питаясь в рощах ароматных
И плавая в струях приятных,
Не знают строгия зимы.

---

[11] Манжурская династия.

[12] Ломоносов имеет в виду одного из руководителей так называемой Второй Камчатской экспедиции А.И. Чирикова.

[13] Предполагают, что Ломоносов говорит здесь о Курильских островах и Курильском течении, проходящем с севера на юг вдоль берегов Камчатки, Курильских островов к северным берегам Японии Предполагают, что Ломоносов говорит здесь о Курильских островах и Курильском течении, проходящем с севера на юг вдоль берегов Камчатки, Курильских островов к северным берегам Японии.

И се Минерва ударяет[14]
В верхи Рифейски[15] копием;
Сребро и злато истекает
Во всем наследии твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что россам в руки предается
Драгой его металл из пор,
Которой там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Он мрачный отвращает взор.

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Науки юношей питают[16],
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
Тебе, о милости источник,
О ангел мирных наших лет!

---

[14] Аллегорическая картина проникновения науки (мудрой Минервы) в тайную сокровищницу природы, олицетворяемую далее в образе Плутона; в 1745 г. на Урале было открыто первое коренное месторождение золота, положившее начало его промышленной добыче.

[15] Урал.

[16] Эта строфа является вольной поэтической разработкой темы, заимствованной из речи Цицерона «В защиту поэта Архия» (Эти занятия наукой питают юношей, приносят усладу старикам, украшают в счастье, служат убежищем и утешением в несчастье).

Всевышний на того помощник,
Кто гордостью своей дерзнет,
Завидя нашему покою,
Против тебя восстать войною;
Тебя зиждитель сохранит
Во всех путях беспреткновенну
И жизнь твою благословенну
С числом щедрот твоих сравнит.

1747 г.

Стихотворение «Разговор с Анакреоном»

Анакреон

Ода I[17]

Мне петь было о Трое,
О Кадме[18] мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида возносил;
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят.

Ломоносов

Ответ

Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежней
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

[17] Переведена Ломоносовым еще в студенческие годы как ода «К лире».
[18] Легендарный основатель города Фив.

Анакреон

Ода XXIII[19]

Когда бы нам возможно
Жизнь было продолжить,
То стал бы я не ложно
Сокровища копить,
Чтоб смерть в мою годину,
Взяв деньги, отошла
И, за откуп кончину
Отсрочив, жить дала;
Когда же я то знаю,
Что жить положен срок,
На что крушусь, вздыхаю,
Что мзды скопить не мог;
Не лучше ль без терзанья
С приятельми гулять
И нежны воздыханья
К любезной посылать.

Ломоносов

Ответ

Анакреон, ты верно
Великой филосов,
Ты делом равномерно
Своих держался слов,
Ты жил по тем законам,
Которые писал,
Смеялся забобонам,
Ты петь любил, плясал;
Хоть в вечность ты глубоку
Не чаял больше быть,
Но славой после року
Ты мог до нас дожить:
Возьмите прочь Сенеку[20],
Он правила сложил
Не в силу человеку,
И кто по оным жил?

[19] В греческом подлиннике названа «К сребролюбцу».

[20] Сенека Люций (3 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ и писатель, позднейший представитель стоицизма.

Анакреон

Ода XI[21]

Мне девушки сказали:
«Ты дожил старых лет»,
И зеркало мне дали:
«Смотри, ты лыс и сед»;
Я не тужу ни мало,
Еще ль мой волос цел,
Иль темя гладко стало,
И весь я побелел;
Лишь в том могу божиться,
Что должен старичок
Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок.

Ломоносов

Ответ

От зеркала сюда взгляни, Анакреон,
И слушай, что ворчит, нахмурившись, Катон[22]:
«Какую вижу я седую обезьяну?
Не злость ли адская, такой оставя шум,
От ревности на смех склонить мой хочет ум?
Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь».
Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой;
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград[23],
Ножем он сам себе был смертный сопостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка[24] славная была ему судьбина;
Несходства чудны вдруг и сходства понял я,
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.

---

[21] В греческом подлиннике названа «К самому себе».

[22] Катон Младший (95—46 до н. э.) — римский политический деятель. Сторонник аристократической республики. Покончил самоубийством, когда стала неизбежной победа Юлия Цезаря (Кесарь), стремившегося установить императорскую власть.

[23] По преданию, Анакреон умер, подавившись сухой виноградиной.

[24] Ломоносов в письме к Г. Теплову (от 30 января 1761 г.) отмечает как черту своего характера «благородную упрямку и смелость в преодолении всех препятствии к распространению наук в отечестве».

Анакреон

Ода XXVIII[25]

Мастер в живописте первой[26],
Первой в Родской стороне,
Мастер, научен Минервой,
Напиши любезну мне.
Напиши ей кудри чорны,
Без искусных рук уборны,
С благовонием духов,
Буде способ есть таков.
Дай из роз в лице ей крови
И как снег представь белу,
Проведи дугами брови
По высокому челу,
Не сведи одну с другою,
Не расставь их меж собою,
Сделай хитростью своей,
Как у девушки моей;

Цвет в очах ее небесной,
Как Минервин, покажи
И Венерин взор прелестной
С тихим пламенем вложи,
Чтоб уста без слов вещали
И приятством привлекали
И чтоб их безгласна речь
Показалась медом течь;

Всех приятностей затеи
В подбородок умести
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям расцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Водят усумненной взгляд;

[25] В греческом подлиннике названа «К девушке».
[26] Апеллес (IV в. до н. э.).

Надевай же платье ало
И не тщись всю грудь закрыть,
Чтоб, ее увидев мало,
И о прочем рассудить.
Коль изображенье мочно,
Вижу здесь тебя заочно,
Вижу здесь тебя, мой свет;
Молви ж, дорогой портрет.

Ломоносов

Ответ

Ты счастлив сею красотою
И мастером, Анакреон,
Но счастливей ты собою
Чрез приятной лиры звон;
Тебе я ныне подражаю
И живописца избираю,
Дабы потщился написать
Мою возлюбленную Мать.

О мастер в живописстве первой,
Ты первой в нашей стороне,
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне,
Изобрази ей возраст зрелой
И вид в довольствии веселой,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу;

Потщись представить члены здравы,
Как должны у богини быть,
По плечам волосы кудрявы
Призна́ком бодрости завить,
Огнь вложи в небесны очи
Горящих звезд в средине ночи,
И брови выведи дугой,
Что кажет после туч покой;

Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны,
И полны живости уста
В беседе важность обещали
И так бы слух наш ободряли,
Как чистой голос лебедей,
Коль можно хитростью твоей;

Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец;
О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно,
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать[27].

Между 1756 и 1761

[27] Намек на Семилетнюю войну (1756—1763).

Гавриил Романович Державин

Стихотворение «Властителям и судиям»

Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных.
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейством землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!

1780 г.(?)

Стихотворение *«Памятник»*

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795 г.

Стихотворение «*Ласточка*»

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь краснобела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнездышком сидя, поешь,
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьешь.
Ты часто по воздуху вьешься,
В нем смелые круги даешь;
Иль стелешься долу, несешься,
Иль в небе простряся плывешь.
Ты часто во зеркале водном
Под рдяной играешь зарей,
На зыбком лазуре бездонном
Тенью мелькаешь твоей.
Ты часто, как молния, реешь
Мгновенно туды и сюды;
Сама за собой не успеешь
Невидимы видеть следы,
Но видишь там всю ты вселенну,
Как будто с высот на ковре:
Там башню, как жар позлащенну,
В чешуйчатом флот там сребре;
Там рощи в одежде зеленой,
Там нивы в венце золотом,
Там холм, синий лес отдаленный,
Там мошки толкутся столпом;
Там гнутся с утеса в понт воды,
Там ластятся струи к брегам.
Всю прелесть ты видишь природы,
Зришь лета роскошного храм,
Но видишь и бури ты черны
И осени скучной приход;
И прячешься в бездны подземны,
Хладея зимою, как лед.
Во мраке лежишь бездыханна, —
Но только лишь придет весна
И роза вздохнет лишь румяна,
Встаешь ты от смертного сна;

Встанешь, откроешь зеницы
И новый луч жизни ты пьешь;
Сизы расправя косицы[1],
Ты новое солнце поешь.

Душа моя! гостья ты мира:
Не ты ли перната сия ? —
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я, —
Восстану, — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?
1792 г., середина 1794

[1] Перья.

Стихотворение «*Снигирь*»[2]

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?[3]
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов;
С горстью россиян всё побеждать?

Быть везде первым в мужестве строгом,
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и богом,
Скиптры давая, зваться рабом[4],
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?

Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, снигирь!
Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что воевать?

Май 1800 г.

---

[2] Стихотворение написано на смерть Суворова, скончавшегося 6 мая 1800 г. в присутствии Державина. «У автора в клетке был снигирь, выученный петь одно колено военного марша; когда автор по преставлении сего героя возвратился в дом, то, услыша, что сия птичка поет военную песнь, написал сию оду в память столь славного мужа»

[3] «*Гиена, злейший африканский зверь, под коей здесь разумеется революционный дух Франции*». Последние годы жизни Суворов командовал русско-австрийской армией, действовавшей против французов.

[4] На завоеванные Суворовым территории возвращались монархи, изгнанные оттуда французскими республиканскими войсками. В то же время сам Суворов находился в немилости у Павла I, подвергаясь с его стороны неоднократным унижениям и преследованиям. С этим, возможно, связан следующий набросок Державина, впервые опубликованный Гротом с пропуском во второй строфе имени Суворова; правильный текст восстановлен И.А. Бычковым в «Отчете императорской Публичной библиотеки за 1892 г.» и Гуковским, прямо считающим, что «тираном» Державин называет здесь Павла I.

Денис Иванович Фонвизин. Пьеса «*Недоросль*»

Комедия в пяти действиях

Действующие лица

Простаков.
Г-жа Простакова, жена его.
Простаков, сын их, недоросль[1].
Еремеевна, мама Митрофанова.
Правдин.
Стародум.
Софья, племянница Стародума.
Милон.
Скотинин, брат г-жи Простаковой.
Кутейкин, семинарист.
Цыфиркин, отставной сержант.
Вральман, учитель.
Тришка, портной.
Слуга Простакова.
Камердинер Стародума.

Действие в деревне Простаковых.

Эскиз костюмов к спектаклю «Недоросль». Художник Д. А. Добросердов

[1] Комедия написана в 1781 году. Впервые представлена в театре 24 сентября 1782 года. Первое издание «Недоросля» вышло в 1783 году. Указом 1714 года Петр повелел всем дворянам служить в военной или гражданской службе. Но не получившие образования дворяне на службу не принимались, и им запрещалось жениться. Так правительство насильно заставляло дворян учиться. «Недорослями» официально называли молодых дворян, еще не получивших свидетельства об образовании, без которого нельзя было поступить на службу.

Действие первое

Явление I

Г-жа Простакова, Митрофан, Еремеевна.

Г-жа Простакова (осматривая кафтан на Митрофане). Кафтан весь испорчен. Еремеевна, введи сюда мошенника Тришку. *(Еремеевна отходит.)* Он, вор, везде его обузил. Митрофанушка, друг мой! Я чаю, тебя жмет до смерти. Позови сюда отца.

Митрофан отходит.

Явление II

Г-жа Простакова, Еремеевна, Тришка.

Г-жа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя, первое, растет; другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься?

Тришка. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: ну, да извольте отдавать портному.

Г-жа Простакова. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!

Тришка. Да вить портной-то учился, сударыня, а я нет.

Г-жа Простакова. Ища он же и спорит. Портной учился у другого, другой у третьего, да первоет портной у кого же учился? Говори, скот.

Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего.

Митрофан (вбегает). Звал батюшку. Изволил сказать: тотчас.

Г-жа Простакова. Так поди же вытащи его, коли добром не дозовешься.

Митрофан. Да вот и батюшка.

Явление III

Те же и Простаков.

Г-жа Простакова. Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством. Какова сыну обновка к дядину сговору? Каков кафтанец Тришка сшить изволил?

Простаков *(от робости запинаясь).* Ме... мешковат немного.

Г-жа Простакова. Сам ты мешковат, умная голова.

Простаков. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.

Г-жа Простакова. А ты сам разве ослеп?

Простаков. При твоих глазах мои ничего не видят.

Г-жа Простакова. Вот каким муженьком наградил меня господь: не смыслит сам разобрать, что широко, что узко.

Простаков. В этом я тебе, матушка, и верил и верю.

Г-жа Простакова. Так верь же и тому, что я холопям потакать не намерена. Поди, сударь, и теперь же накажи...

Явление IV

Те же и Скотинин.

Скотинин. Кого? За что? В день моего сговора! Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрева; а завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. Да за что ж ты так прогневалась?

Г-жа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан?

Скотинин. Нет.

Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок.

Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит изряднехонько.

Г-жа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. *(Еремеевне.)* Поди ж, Еремеевна, дай позавтракать ребенку. Вить, я чаю, скоро и учители придут.

Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил.

Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! Изволь смотреть.

Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я вить сказала это для Митрофана же Терентьевича. Протосковал до самого утра.

Г-жа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, Митрофанушка?

Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.

Скотинин. Да видно, брат, поужинал ты плотно.

Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.

Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил.

Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не помню, шесть.

Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил.

Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю така дрянь в глаза лезла.

Г-жа Простакова. Какая ж дрянь, Митрофанушка?

Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.

Г-жа Простакова. Как же это?

Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку.

Простаков (в сторону). Ну, беда моя! Сон в руку!

Митрофан *(разнежась).* Так мне и жаль стало.

Г-жа Простакова *(с досадою)*. Кого, Митрофанушка?

Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.

Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно мое утешение.

Скотинин. Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!

Простаков. По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя и от радости сам истинно не верю, что он мой сын.

Скотинин. Только теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь.

Г-жа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город?

Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-тка теперь на голубятню, так авось-либо...

Г-жа Простакова. Так авось-либо господь милостив. Поди, порезвись, Митрофанушка.

Митрофан с Еремеевною входят.

Явление V

Г-жа Простакова, Простаков, Скотинин.

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают её замуж?

Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако я ей свойственница; а я люблю, чтоб и чужие меня слушали.

Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как с сущею сироткой. После отца осталась они младенцем. Тому с полгода, как ее матушке, а моей сватьюшке, сделался удар...

Г-жа Простакова *(показывая, будто крестит сердце)*. С нами сила крестная.

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь; а как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим.

Г-жа Простакова. Что, что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Ища братец может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли.

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно.

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду.

Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь.

Г-жа Простакова. Хотя бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не умеем. С тех пор как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на Софьюшке.

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась?

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.

Простаков. Так по соседству ее деревеньки?

Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится и до чего моя смертная охота.

Г-жа Простакова. До чего же, братец?

Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою.

Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить может. Митрофанушка наш весь в дядю. И он до свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от радости.

Скотинин. Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец, Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство; да отчего же я к свиньям-то так сильно пристрастился?

Простаков. И тут есть же какое-нибудь сходство, я так рассуждаю.

Явление VI

Те же и Софья.

Софья вошла, держа письмо в руке и имея веселый вид

Г-жа Простакова (Софье). Что так весела, матушка? Чему обрадовалась?

Софья. Я получила сейчас радостное известно. Дядюшка, о котором столь долго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца моего, на сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила.

Г-жа Простакова (испугавшись, с злобою). Как! Стародум, твой дядюшка, жив! И ты изволишь затевать, что он воскрес! Вот изрядный вымысел!

Софья. Да он никогда не умирал.

Г-жа Простакова. Не умирал! А разве ему и умереть нельзя? Нет, сударыня, это твои вымыслы, чтоб дядюшкою своим нас застращать, чтоб мы дали тебе волю. Дядюшка-де человек умный; он, увидя меня в чужих руках, найдет способ меня выручить. Вот чему ты рада, сударыня; однако, пожалуй, не очень веселись: дядюшка твой, конечно, не воскресал.

Скотинин. Сестра, ну да коли он не умирал?

Простаков. Избави боже, коли он не умирал!

Г-жа Простакова (к мужу). Как не умирал! Что ты бабушку путаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто таки и грешные-то мои молитвы не доходили! *(К Софье.)* Письмецо-то мне пожалуй. *(Почти вырывает.)* Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь от кого. Это от того офицера, который искал на тебе жениться и за которого ты сама идти хотела. Да которая бестия без моего спросу отдает тебе письма! Я доберусь. Вот до чего дожили. К деушкам письма пишут! деушки грамоте умеют!

Софья. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не может.

Г-жа Простакова. Прочтите его сами! Нет, сударыня, я, благодаря бога, не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. *(К мужу.)* Читай.

Простаков *(долго смотря).* Мудрено.

Г-жа Простакова. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную девицу. Братец, прочти, потрудись.

Скотинин. Я? Я отроду ничего не читывал, сестрица! Бог меня избавил этой скуки.

Софья. Позвольте мне прочесть.

Г-жа Простакова. О матушка! Знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе верю. Вот, я чаю, учитель Митрофанушкин скоро придет. Ему велю...

Скотинин. А уж зачали молодца учить грамоте?

Г-жа Простакова. Ах, батюшка братец! Уж года четыре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин. Арихметике учит его, батюшка, один отставной сержант, Цыфиркиц. Оба они приходят сюда из города. Вить от нас и город в трех верстах, батюшка. По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье его наши бабы моют. Куда надобно — лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча, и парик направляет наш же Фомка даром. Правду сказать, и мы им довольны, батюшка братец. Он робенка не неволит. Вить, мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, пота его и понежить; а там лет через десяток, как войдет, избави боже, в службу, всего натерпится. Как кому счастье на роду написано, братец. Из нашей же фамилии Простаковых, смотри-тка, на боку лежа, летят себе и чины. Чем же плоше их Митрофанушка? Ба! да вот пожаловал кстати дорогой наш постоялец.

Явление VII

Те же и Правдин.

Г-жа Простакова. Братец, друг мой! Рекомендую вам дорогого гостя нашего, господина Правдина; а вам, государь мой, рекомендую брата моего.

Правдин. Радуюсь, сделав ваше знакомство.

Скотинин. Хорошо, государь мой! А как по фамилии, я не дослышал.

Правдин. Я называюсь Правдин, чтоб вы дослышали.

Скотинин. Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки?

Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно, а деревни мои в здешнем наместничестве.

Скотинин. А смею ли спросить, государь мой, — имени и отчества не знаю, — в деревеньках ваших водятся ли свинки?

Г-жа Простакова. Полно, братец, о свиньях-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. *(К Правдину.)* Вот, батюшка! Бог велел нам взять на свои руки девицу. Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка, потрудись, прочти всем нам вслух.

Правдин. Извините меня, сударыня. Я никогда не читаю писем без позволения тех, к кому они писаны.

Софья. Я вас о том прошу. Вы меня тем очень одолжите.

Правдин. Если вы приказываете. *(Читает.)* «Любезная племянница! Дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними; а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известии. Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностию состояние свое сделать можно. Сими средствами, с помощию счастия, нажил я десять тысяч рублей доходу...»

Скотинин и оба Простаковы. Десять тытяч!

Правдин (читает). «...которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницею...»

Г-жа Простакова. Тебя наследницею!

Простаков. Софью наследницею!

Скотинин. Ее наследницею!

Г-жа Простакова (бросаясь обнимать Софью). Поздравляю, Софьюшка! Поздравляю, душа моя! Я вне себя от радости! Теперь тебе надобен жених. Я, я лучшей невесты и Митрофанушке не желаю. То-то дядюшка! То-то отец родной! Я и сама все-таки думала, что бог его хранит, что он еще здравствует.

Скотинин (протянув руку). Ну, сестрица, скоряй же по рукам.

Г-жа Простакова (тихо Скотинину). Постой, братец. Сперва надобно спросить ее, хочет ли еще она за тебя вытти?

Скотинин. Как! Что за вопрос! Неужто ты ей докладываться станешь?

Правдин. Позволите ли письмо дочитать?

Скотинин. А на что? Да хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч не дочитаешься.

Г-жа Простакова (к Софье). Софьюшка душа моя! пойдем ко мне в спальню. Мне крайняя нужда с тобой поговорить. *(Увела Софью.)*

Скотинин. Ба! так я вижу, что сегодни сговору-то вряд и быть ли.

Явление VIII

Правдин, Простаков, Скотинин, слуга.

Слуга (к Простакову, запыхавшись). Барин! барин! солдаты пришли, остановились в нашей деревне.

Простаков. Какая беда! Ну, разорят нас до конца!

Правдин. Чего вы испугались?

Простаков. Ах ты, отец родной! Мы уж видали виды. Я к ним и появиться не смею.

Правдин. Не бойтесь. Их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдем к нему со мною. Я уверен, что вы робеете напрасно.

Правдин, Простаков и слуга отходят.

Скотинин. Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный двор.

Конец первого действия.

Действие второе

Явление I

Правдин, Милон.

Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобою! Скажи, каким случаем...

Правдин. Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен членом в здешнем наместничестве. Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно. Ты знаешь образ мыслей нашего наместника. С какою ревностию помогает он страждущему человечеству! С каким усердием исполняет он тем самым человеколюбивые виды вышней власти! Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник таков, каковым изображен наместник в Учреждении[2], там благосостояние обитателей верно и надежно. Я живу здесь уже три дни. Нашел помещика дурака бессчетного, а жену презлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. Ты что задумался, мой друг, скажи мне, долго ль здесь останесся?

Милон. Через несколько часов иду отсюда.

Правдин. Что так скоро? Отдохни.

Милон. Не могу. Мне велено и солдат вести без замедления... да, сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве.

Правдин. Что причиною?

Милон. Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен и имею счастие быть любим. Больше полугода, как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и, что еще горестнее, ничего не слыхал я о ней во все это время. Часто, приписывая молчание ее холодности, терзался я горестию; но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут ко мне, что, по смерти ее матери, какая-то дальняя родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю: ни кто, ни куда. Может быть, она

---

[2] В 1775 году Екатерина издала «*Учреждение для управления губерний*». Во главе каждой губернии стоял губернатор и его помощник — вице-губернатор. На 2—3 губернии назначался наместник, который должен был представлять особу государя и осуществлять верховную власть. При нем было наместническое правление; членом его и состоял Правдин. Ссылка на «Учреждение» носит издевательский характер. В своем «Учреждении» Екатерина демагогически повелевала наместнику быть «*оберегателем изданного узаконения, ходатаем за пользу общую и государеву, заступником утесненных*». Наместники имели право «*пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутство, мотовство, тиранство и жестокость*». Получив необъятную власть, наместники использовали ее в своих корыстных целях. Огромные административные округа, вверенные им для управления, они превратили в свои вотчины. Одним из таких наместников был фаворит Екатерины Г.А. Потемкин. К году появления «Недоросля» уже было хорошо известно, что такое «государевы наместники». Фонвизин внушает зрителю мысль — как легко можно было бы, даже без особых усилий, без реформ обуздать тиранствующих помещиков, если бы Екатерина хотела использовать то, о чем демонстративно заявляла, если бы наместники были действительно такими, как это изображено в «Учреждении». А для этого надо было не так уж «много», как говорит Правдин, — надо, чтоб наместник был «честный человек» и «помогал страждущему человечеству».

теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя.

Правдин. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Я уведомил уже о всех здешних варварствах нашего начальника и не сумневаюсь, что унять их возьмутся меры.

Милон. Счастлив ты, мой друг, будучи в состоянии облегчать судьбу несчастных. Не знаю, что мне делать в горестном моем положении.

Правдин. Позволь мне спросить об ее имени.

Милон *(в восторге).* А! вот она сама.

Явление II

Те же и Софья.

Софья (в восхищении). Милон! тебя ли я вижу?

Правдин. Какое счастие!

Милон. Вот та, которая владеет моим сердцем. Любезная Софья! Скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя?

Софья. Сколько горестей терпела я со дня нашей разлуки! Бессовестные мои свойственники...

Правдин. Мой друг! не спрашивай о том, что столько ей прискорбно... Ты узнаешь от меня, какие грубости...

Милон. Недостойные люди!

Софья. Сегодня, однако же, в первый раз здешняя хозяйка переменила со мною свой поступок. Услыша, что дядюшка мой делает меня наследницею, вдруг из грубой и бранчивой сделалась ласковою до самой низкости, и я по всем ее обинякам вижу, что прочит меня в невесты своему сыну.

Милон (с нетерпением). И ты не изъявила ей тот же час совершенного презрения?…

Софья. Нет...

Милон. И не сказала ей, что ты имеешь сердечные обязательства, что...

Софья. Нет...

Милон. А! теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив! Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он, может быть, разумен, просвещен, любезен; но чтоб мог со мною сравниться в моей к тебе любви, чтоб...

Софья (усмехаясь). Боже мой! Если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности!

Милон (с негодованием). Я воображаю все его достоинствы.

Софья. Всех и вообразить не можешь. Он хотя и шестнадцати лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет.

Правдин. Как дале не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов; а там, думать надобно, примутся и на псалтырь.

Милон. Как! Таков-то мой соперник! А, любезная Софья, на что ты и шуткою меня терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается и малейшим подозрением.

Софья. Подумай же, как несчастно мое состояние! Я не могла и на это глупое предложение отвечать решительно. Чтоб избавиться от их грубости, чтоб иметь некоторую свободу, принуждена была я скрыть мое чувство.

Милон. Что ж ты ей отвечала?

Здесь Скотинин идет по театру, задумавшись, и никто его не видит.

Софья. Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которого *(к Правдину)* не позволил вам дочитать господин Скотинин.

Милон. Скотинин!

Скотинин. Я!

Явление III

Те же и Скотинин.

Правдин. Как вы подкрались, господин Скотинин! Этого бы я от вас и не чаял.

Скотинин. Я проходил мимо вас. Услышал, что меня кличут, я и откликнулся. У меня такой обычай: кто вскрикнет — Скотинин! А я ему: я! Что вы, братцы, и заправду? Я сам служивал в гвардии и отставлен капралом. Бывало, на съезжей в перекличке как закричат: Тарас Скотинин! А я во все горло: я!

Правдин. Мы вас теперь не кликали, и вы можете идти, куда шли.

Скотинин. Я никуда не шел, а брожу, задумавшись. У меня такой обычай, как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотить. У меня, слышь ты, что вошло в ум, тут и засело. О том вся и дума, то только и вижу во сне, как наяву, а наяву, как во сне.

Правдин. Что ж бы вас так теперь занимало?

Скотинин. Ох, братец, друг ты мой сердешный! Со мною чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро из моей деревни в свою, а коли так же проворно вывезет меня из своей деревни в мою, то могу пред целым светом по чистой совести сказать: ездил я ни по что, привез ничего.

Правдин. Какая жалость, господин Скотинин! Сестрица ваша играет вами, как мячиком.

Скотинин *(озлобясь).* Как мячиком? Оборони бог! Да я и сам зашвырну ее так, что целой деревней в неделю не отыщут.

Софья. Ах, как вы рассердились!

Милон. Что с вами сделалось?

Скотинин. Сам ты, умный человек, порассуди. Привезла меня сестра сюда жениться. Теперь сама же подъехала с отводом: «Что-де тебе, братец, в жене; была бы-де у тебя, братец, хорошая свинья». Нет, сестра! Я и своих поросят завести хочу. Меня не проведешь.

Правдин. Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе, только не о вашей.

Скотинин. Эка притча! Я другому не помеха. Всякий женись на своей невесте. Я чужу не трону, и мою чужой не тронь же*. (Софье.).* Ты не бось, душенька. Тебя у меня никто не перебьет.

Софья. Это что значит? Вот еще новое!

Милой *(вскричал).* Какая дерзость!

Скотинин (к Софье). Чего ж ты испугалась?

Правдин (к Милану). Как ты можешь осердиться на Скотинина!

Софья (Скотинину). Неужели суждено мне быть вашою женою?

Милон. Я насилу могу удержаться!

Скотинин. Суженого конем не объедешь, душенька! Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять тысяч твоего доходу! Эко счастье привалило; да я столько родясь и не видывал; да я на них всех свиней со бела света выкуплю; да я, слышь ты, то сделаю, что все затрубят: в здешнем-де околотке и житье одним свиньям.

Правдин. Когда же у нас могут быть счастливы одни только скоты, то жене вашей от них и от нас будет худой покой.

Скотинин. Худой покой! ба! ба! ба! да разве светлиц у меня мало? Для нее одной отдам угольную с лежанкой. Друг ты мой сердешный! коли у меня теперь, ничего не видя, для каждой свинки клевок особливый, то жене найду светелку.

Милон. Какое скотское сравнение!

Правдин (Скотинину). Ничему не бывать, господин Скотинин! Я скажу вам, что сестрица ваша прочит ее за сынка своего.

Скотинин. Как! Племяннику перебивать у дяди! Да я его на первой встрече, как черта, изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем или Митрофан уродом.

Явление IV

Те же, Еремеевна и Митрофан.

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко.

Митрофан. Ну, еще слово молви, стара хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему.

Скотинин. Подойди сюда, дружочек.

Еремеевна. Изволь подойти к дядюшке.

Митрофан. Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил?

Скотинин. Митрофан! Гляди на меня прямее.

Еремеевна. Погляди, батюшка.

Митрофан (Еремеевне). Да дядюшка что за невидальщина? Что на нем увидишь?

Скотинин. Еще раз: гляди на меня прямее.

Еремеевна. Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и ты свои изволь так же вытаращить.

Скотинин и Митрофан, выпуча глаза, друг на друга смотрят.

Милон. Вот изрядное объяснение!

Правдин. Чем-то оно кончится?

Скотинин. Митрофан! Ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду; если б я греха не побоялся, я бы те, не говоря еще ни слова, за ноги да об угол. Да не хочу губить души, не найдя виноватого.

Еремеевна (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться?

Митрофан. Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил.

Скотинин. Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на себя, чтоб напрасных побой не принять.

Еремеевна. Избави бог напраслины!

Скотинин. Хочешь ли ты жениться?

Митрофан (разнежась). Уж давно, дядюшка, берет охота...

Скотинин *(бросаясь на Митрофана).* Ох ты чушка проклятая!..

Правдин (не допуская Скотинина). Господин Скотинин! Рукам воли не давай.

Митрофан. Мамушка, заслони меня!

Еремеевна (заслоня Митрофана, остервенясь и подняв кулаки). Издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю.

Скотинин *(задрожав и грозя, отходит).* Я вас доеду!

Еремеевна (задрожав, вслед). У меня и свои зацепы востры!

Митрофан (вслед Скотинину). Убирайся, дядюшка, проваливай.

Явление V

Те же и оба Простаковы.

Г-*жа Простакова (мужу, идучи).* Тут перевирать нечего. Весь век, сударь, ходишь, разнеся уши.

Простаков. Да он сам с Правдиным из глаз у меня сгиб да пропал. Я чем виноват?

Г-жа Простакова (к Милану). А, мой батюшка! Господин офицер! Я вас теперь искала по всей деревне; мужа с ног сбила, чтоб принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду.

Милон. За что, сударыня?

Г-жа Простакова. Как за что, мой батюшка! Солдаты такие добрые. До сих пор волоска никто не тронул. Не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. Отроду никого угостить не смыслит. Уж так рохлею родился, мой батюшка

Милон. Я нимало не пеняю, сударыня.

Г-жа Простакова. На него, мой батюшка, находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда, выпуча глаза, стоит битый час как вкопанный. Уж чего-то я с ним не

делала; чего только он у меня не вытерпел! Ничем не проймешь. Ежели столбняк и попройдет, то занесет, мой батюшка, такую дичь, что у бога просишь опять столбняка.

Правдин. По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на злой его нрав. Он смирен...

Г-жа Простакова. Как теленок, мой батюшка; оттого-то у нас в доме все и избаловано. Вить у него нет того смыслу, чтоб в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешена, рук не покладываю: то бранюсь, то дерусь; тем и дом держится, мой батюшка.

Правдин (в сторону). Скоро будет он держаться иным образом.

Митрофан. И сегодни матушка все утро изволила провозиться с холопями.

Г-жа Простакова (к Софье). Убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Я об нем много наслышалась. И злодеи его говорят только, что он немножечко угрюм, а такой-де преразумный, да коли-де кого уж и полюбит, так прямо полюбит.

Правдин. А кого он невзлюбит, тот дурной человек. *(К Софье.)* Я и сам имею честь знать вашего дядюшку. А, сверх того, от многих слышал об нем то, что вселило в душу мою истинное к нему почтение. Что называют в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия. Отроду язык его не говорил *да,* когда душа его чувствовала *нет.*

Софья. Зато и счастье свое должен он был доставать трудами.

Г-жа Простакова. Милость божия к нам, что удалось. Ничего так не желаю, как отеческой его милости к Митрофанушке. Софьюшка, душа моя! не изволишь ли посмотреть дядюшкиной комнаты?

Софья отходит.

Г-жа Простакова (к Простакову). Опять зазевался, мой батюшка; да изволь, сударь, проводить ее. Ноги-то не отнялись.

Простаков (отходя). Не отнялись, да подкосились.

Г-жа Простакова (к гостям). Одна моя забота, одна моя отрада — Митрофанушка. Мой век проходит. Его готовлю в люди.

Здесь появляются Кутейкин с часословом, а Цыфиркин с аспидной доскою и грифелем. Оба они знаками спрашивают Еремеевну: входить ли? Она их манит, а Митрофан отмахивает.

Г-жа Простакова (не видя их, продолжает). Авось-либо господь милостив, и счастье на роду ему написано.

Правдин. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается?

Г-жа Простакова. А! Это, батюшка, Митрофанушкины учители, Сидорыч Кутейкин...

Еремеевна. И Пафнутьич Цыфиркин.

Митрофан (в сторону). Пострел их побери и с Еремеевной.

Кутейкин. Дому владыке мир и многая лета с чады и домочадцы.

Цыфиркин. Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать, да еще пятнадцать. Несчетны годы.

Милон. Ба! Это наш брат служивый! Откуда взялся, друг мой?

Цыфиркин. Был гарнизонный, ваше благородие! А ныне пошел в чистую.

Милон. Чем же ты питаешься?

Цыфиркин. Да кое-как, ваше благородие! Малу толику арихметике маракую, так питаюсь в городе около приказных служителей у счетных дел. Не всякому открыл господь науку: так кто сам не смыслит, меня нанимает то счетец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь; праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем третий год над ломаными бьемся, да что-то плохо клеятся; ну, и то правда, человек на человека не приходит.

Г-жа Простакова. Что? Что ты это, Пафнутьич, врешь? Я не вслушалась.

Цыфиркин. Так. Я его благородию докладывал, что в иного пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете.

Правдин *(к Кутейкину).* А ты, господин Кутейкин, не из ученых ли?

Кутейкин. Из ученых, ваше высокородие! Семинарии здешния епархии. Ходил до риторики, да богу изволившу, назад воротился. Подавал в консисторию челобитье, в котором прописал: «Такой-то-де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны премудрости, просит от нея об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала, с отметкою: «Такого-то-де семинариста от всякого учения уволить: писано бо есть, не мечите бисера пред свиниями, да не попрут его ногами».

Г-жа Простакова. Да где наш Адам Адамыч?

Еремеевна. Я и к нему было толкнулась, да насилу унесла ноги. Дым столбом, моя матушка! Задушил, проклятый, табачищем. Такой греховодник.

Кутейкин. Пустое, Еремеевна! Несть греха в курении табака.

Правдин *(в сторону).* Кутейкин еще и умничает!

Кутейкин. Во многих книгах разрешается: во псалтире именно напечатано: «И злак на службу человеком».

Правдин. Ну, а еще где?

Кутейкин. И в другой псалтире напечатано то же. У нашего протопопа маленька в осьмушку, и в той то же.

Правдин *(к г-же Простаковой).* Я не хочу мешать упражнениям сына вашего; слуга покорный.

Милон. Ни я, сударыня.

Г-жа Простакова. Куда ж вы, государи мои?..

Правдин. Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не видавшись, о многом говорить имеют.

Г-жа Простакова. А кушать где изволите, с нами или в своей комнате? У нас за столом только что своя семья, с Софьюшкой...

Милон. С вами, с вами, сударыня.

Правдин. Мы оба эту честь иметь будем.

Явление VI

Г-жа Простакова, Еремеевна, Митрофан, Кутейкин и Цыфиркин.

Г-жа Простакова. Ну, так теперь хотя по-русски прочти зады, Митрофанушка.

Митрофан. Да, зады, как не так.

Г-жа Простакова. Век живи, век учись, друг мой сердешный! Такое дело.

Митрофан. Как не такое! Пойдет на ум ученье. Ты б еще навезла сюда дядюшек!

Г-жа Простакова. Что? Что такое?

Митрофан. Да! того и смотри, что от дядюшки тоска; а там с его кулаков да за часослов. Нет, так я, спасибо, уж один конец с собою!

Г-жа Простакова (испугавшись). Что, что ты хочешь делать? Опомнись, душенька!

Митрофан. Вить здесь и река близко. Нырну, так поминай как звали.

Г-жа Простакова (вне себя). Уморил! Уморил! Бог с тобой!

Еремеевна. Все дядюшка напугал. Чуть было в волоски ему не вцепился. А ни за что... ни про что...

Г-жа Простакова *(в злобе).* Ну...

Еремеевна. Пристал к нему: хочешь ли жениться?..

Г-жа Простакова. Ну...

Еремеевна. Дитя не потаил, уж давно-де, дядюшка, охота берет. Как он остервенится, моя матушка, как вскинется!..

Г-жа Простакова (дрожа). Ну... а ты, бестия, остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши…

Еремеевна. Приняла было! Ох, приняла, да...

Г-жа Простакова. Да... да что... не твое дитя, бестия! По тебе робенка хоть убей до смерти.

Еремеевна. Ах, создатель, спаси и помилуй! Да кабы братец в ту ж минуту отойти не изволил, то б я с ним поломалась. Вот что б бог не поставил. Притупились бы эти *(указывая на ногти),* я б и клыков беречь не стала.

Г-жа Простакова. Все вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле...

*Еремеевна (заплакав).*Я не усердна вам, матушка! Уж как больше служить, не знаешь... рада бы не токмо что... живота не жалеешь... а все не угодно.

Кутейкин. Нам восвояси повелите?
Цыфиркин. Нам куда поход, ваше благородие? *(Вместе.)*

Г-жа Простакова. Ты ж еще, старая ведьма, и разревелась. Поди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять сюда. *(К Митрофану.)* Пойдем со мною, Митрофанушка. Я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе нещечко, так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря бога, столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек. *(К Еремеевне.)* С братцем переведаюсь не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что мама и что мать родная. *(Отходит с Митрофаном.)*

Кутейкин. Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку...

Цыфиркин. А там другую, вот те и умноженье.

Еремеевна *(в слезах).* Нелегкая меня не приберет! Сорок лет служу, а милость все та же...

Кутейкин. А велика ль благостыня?

Еремеевна. По пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день.

Кутейкин и Цыфиркин отводят ее под руки.

Цыфиркин. Смекнем же за столом, что тебе доходу в круглый год.

Конец второго действия.

Действие третье

Явление I

Стародум и Правдин.

Правдин. Лишь только из-за стола встали, и я, подошед к окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, выбежал к вам навстречу обнять вас от всего сердца. Мое к вам душевное почтение...

Стародум. Оно мне драгоценно. Поверь мне.

Правдин. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете иметь ее к другим, кроме таких...

Стародум. Каков ты. Я говорю без чинов. Начинаются чины - перестает искренность.

Правдин. Пиши обхождение...

Стародум. Ему многие смеются. Я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался *ты,* а не *вы.* Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. Зато нынче многие не стоят одного. Отец мой у двора Петра Великого...

Правдин. А я слышал, что он в военной службе...

Стародум. В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные. Воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели еще чужим умом набивать пустую голову.

Правдин. Тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах...

Стародум. В одном. Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знании мода, как ни пряжки, на пуговицы.

Правдин. Вы говорите истину. Прямое достоинство о человеке есть душа...

Стародум. Без нее просвещеннейшая умница — жалкая тварь. *(С чувством.)* Невежда без души — зверь. Самый мелкий подвиг ведет его во всякое преступление. Между тем, что он делает, и тем, для чего он делает, никаких весков у него нет. От таких-то животных пришел я свободить...

Правдин. Вашу племянницу. Я это знаю. Она здесь. Пойдем...

Стародум. Постой. Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило: в первом движении ничего не начинать.

Правдин. Редкие правило ваше наблюдать умеют.

Стародум. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если б я ранее умел владеть собою, я имел бы удовольствие служить долее отечеству.

Правдин. Каким же образом? Происшествии с человеком ваших качеств никому равнодушны быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажете...

Стародум. Я ни от кого их не таю для того, чтоб другие в подобном положении нашлись меня умнее. Вошед в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын случайного отца, воспитан в большом свете и имел особливый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило. Я все силы употребил снискать его дружбу, чтоб всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостию. «Любезный граф! вот случай нам отличить себя. Пойдем тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина, которое нам дала порода». Вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо: «Счастливый тебе путь, — сказал мне, — а я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мною расстаться». Ни с чем нельзя сравнить презрения, которое ощутил я к нему в ту ж минуту. Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница, что в большом свете водятся премелкие души и что с великим просвещением можно быть великому скареду.

Правдин. Сущая истина.

Стародум. Оставя его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их и не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестною наградою службы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведен чином, а обойден я, я, лежавший тогда от ран в тяжкой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку.

Правдин. Что ж бы иное и делать надлежало?

Стародум. Надлежало образумиться. Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожалована.

Правдин. Но разве дворянину не позволяется взять отставки ни в каком уже случае?

Стародум. В одном только: когда он внутренно удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. А! тогда поди.

Правдин. Вы даете чувствовать истинное существо должности дворянина.

Стародум. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай завел меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило.

Правдин. Куда же?

Стародум. Ко двору. Меня взяли ко двору. А? Как ты об этом думаешь?

Правдин. Как же вам эта сторона показалась?

Стародум. Любопытна. Первое показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее.

Правдин. Хоть крюком, да просторна ли дорога?

Стародум. А такова-то просторна, что двое, встретясь, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земи.

Правдин. Так поэтому тут самолюбие...

Стародум. Тут не самолюбие, а, так назвать, себялюбие. Тут себя любят отменно; о себе одном пекутся; об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь. Я видел тут множество людей, которым во все случаи их жизни ни ризу на мысль не приходили ни предки, ни потомки.

Правдин. Но те достойные люди, которые у двора служат государству...

Стародум. О! те не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних.

Правдин. Вас, конечно, у двора не узнали?

Стародум. Тем для меня лучше. Я успел убраться без хлопот, а то бы выжили ж меня одним из двух манеров.

Правдин. Каких?

Стародум. От двора, мой друг, выживают двумя манерами. Либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят. Я не стал дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней.

Правдин. Итак, вы отошли от двора ни с чем? *(Открывает свою табакерку.)*

Стародум (берет у Правдина табак). Как ни с чем? Табакерке цена пятьсот рублев. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес домой табакерку. Другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои пятьсот рублев целы. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов, да мое принес домой неповрежденно, мою душу, мою честь, мои правилы.

Правдин. С вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно.

Стародум. Призывать? А зачем?

Правдин. Затем, зачем к больным врача призывают.

Стародум. Мой друг! Ошибаешься. Тщетно знать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится.

Явление II

Те же и Софья.

Софья (к Правдину). Сил моих не стало от их шуму.

Стародум *(в сторону).* Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья.

Софья *(смотря на Стародума).* Боже мой! Он меня назвал. Сердце мое моим не обманывает...

Стародум *(обняв ее).* Нет. Ты дочь моей сестры, дочь сердца моего!

Софья (бросаясь в его объятия). Дядюшка! Я вне себя с радости.

Стародум. Любезная Софья! Я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. Мне на свете шестьдесят лет. Случалось быть часто раздраженным, иногда быть собой довольным. Ничто так не терзало мое сердце, как невинность в сетях коварства. Никогда не бывал я так собой доволен, как если случалось из рук вырвать добычь от порока.

Правдин. Сколь приятно быть тому и свидетелем!

Софья. Дядюшка! ваши ко мне милости...

Стародум. Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жизни. Ты должна делать утешение моей старости, а мои попечении твое счастье. Пошед в отставку, положил я основание твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состояния, как разлучась с твоей матерью и с тобою.

Софья. Отсутствие ваше огорчало нас несказанно.

Стародум *(к Правдину).* Чтоб оградить ее жизнь от недостатку в нужном, решился я удалиться на несколько лет и ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от самой земли, которая по-правосуднее людей, лицеприятия не знает, а платит одни труды верно и щедро.

Правдин. Вы могли б обогатиться, как я слышал, несравненно больше.

Стародум. А на что?

Правдин. Чтоб быть богату, как другие.

Стародум. Богату! А кто богат? Да ведаешь ли ты, что для прихотей одного человека всей Сибири мало! Друг мой! Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь.

Софья. Дядюшка! Какую правду вы говорите!

Стародум. Я нажил столько, чтоб при твоем замужестве не остановляла нас бедность жениха достойного.

Софья. Во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон.

Правдин. Но, выдав ее, не лишнее было бы оставить и детям...

Стародум. Детям? Оставлять богатство детям? В голове нет. Умны будут — без него обойдутся; а глупому сыну не в помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да с свинцовой головою. Нет, мой друг! Наличные деньги — не наличные достоинства. Золотой болван — все болван.

Правдин. Со всем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам, чины обыкновенно к знатности, а знатным оказывается почтение.

Стародум. Почтение! Одно почтение должно быть лестно человеку — душевное; а душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам.

Правдин. Заключение ваше неоспоримо.

Стародум. Ба! Это что за шум!

Явление III

Те же, г-жа Простакова, Скотинин, Милон.

Милон разнимает г-жу Простакову со Скотининым.

Г-жа Простакова. Пусти! Пусти, батюшка! Дай мне до рожи, до рожи...

Милон. Не пущу, сударыня. Не прогневайся!

Скотинин (в запальчивости, оправляя парик). Отвяжись, сестра! Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь.

Милон (г-же Простаковой). И вы забыли, что он вам брат!

Г-жа Простакова. Ах, батюшка! Сердце взяло, дай додраться!

Милон (Скотинину). Разве она вам не сестра?

Скотинин. Что греха таить, одного помету, да вишь как развизжалась.

Стародум *(не могши удержаться от смеха, к Правдину).* Я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет.

Г-жа Простакова. Кого-то, над кем-то? Это что за выезжий?

Стародум. Не прогневайся, сударыня. Я народу ничего смешнее не видывал.

Скотинин (держась за шею). Кому смех, а мне и полсмеха нет.

Милон. Да не ушибла ль она вас?

Скотинин. Перед-от заслонял обеими, так вцепилась в зашеину...

Правдин. И больно?..

Скотинин. Загривок немного пронозила.

В следующую речь г-жи Простаковой Софья сказывает взорами Милону, что перед ним Стародум. Милон ее понимает.

Г-жа Простакова. Пронозила!.. Нет, братец, ты должен образ выменить господина офицера[3]; а кабы не он, то б ты от меня не заслонился. За сына вступлюсь. Не спущу отцу родному. *(Стародуму.)* Это, сударь, ничего и не смешно. Не прогневайся. У меня материно сердце. Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала? Изволил пожаловать неведомо к кому, неведомо кто.

Стародум (указывая на Софью). Приехал к ней, ее дядя, Стародум.

Г-жа Простакова (обробев и иструсясь). Как! Это ты! Ты, батюшка! Гость наш бесценный! Ах, я дура бессчетная! Да так ли бы надобно было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как порох в глазе. Батюшка! Прости меня. Я дура. Образумиться не могу. Где муж? Где сын? Как в пустой дом приехал! Наказание божие! Все обезумели. Девка! Девка! Палашка! Девка!

Скотинин *(в сторону).* Тот-то, он-то, дядюшка-то!

Явление IV

Те же и Еремеевна.

Еремеевна. Чего изволишь?

---

[3] *Нет, братец, ты должен образ выменять господина офицера...* — то есть купить икону с изображением того святого, имя которого носит офицер.

Г-жа Простакова. А ты разве девка, собачья ты дочь? Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хари, и служанок нет? Палашка где?

Еремеевна. Захворала, матушка, лежит с утра.

Г-жа Простакова. Лежит! Ах, она бестия! Лежит! Как будто благородная!

Еремеевна. Такой жар рознял, матушка, без умолку бредит...

Г-жа Простакова. Бредит, бестия! Как будто благородная! Зови же ты мужа, сына. Скажи им, что, по милости божией, дождались мы дядюшку любезной нашей Софьюшки; что второй наш родитель к нам теперь пожаловал, по милости божией. Ну, беги, переваливайся!

Стародум. К чему так суетиться, сударыня? По милости божией, я ваш не родитель; по милости же божией, я вам и незнаком.

Г-жа Простакова. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял; да дай хотя обнять тебя хорошенько, благодетель наш!..

Явление V

Те же, Простаков, Митрофан и Еремеевна.

В следующую речь Стародума Простаков с, сыном, вышедшие из средней двери, стали позади Стародума. Отец готов его обнять, как скоро дойдет очередь, а сын подойти к руке. Еремеевна взяла место к стороне и, сложа руки, стала как вкопанная, выпяля глаза на Стародума, с рабским подобострастием.

Стародум *(обнимая неохотно г-жу Простакову)*. Милость совсем лишняя, сударыня! Без нее мог бы я весьма легко обойтиться. *(Вырвавшись из рук ее, обертывается на другую сторону, где Скотинин, стоящий уже с распростертыми руками, тотчас его схватывает.)* Это к кому я попался?

Скотинин. Это я, сестрин брат.

Стародум *(увидя еще двух, с нетерпением).* А это кто еще?

Простаков *(обнимая).* Я женин муж.
Митрофан *(ловя руку).* А я матушкин сынок. (Вместе)

Милон (Правдину). Теперь я не представлюсь.

Правдин (Милону). Я найду случай представить тебя после.

Стародум *(не давая руки Митрофану).* Этот ловит целовать руку. Видно, что готовят в него большую душу.

Г-жа Простакова. Говори, Митрофанушка. Как-де, сударь, мне не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец.

Митрофан. Как не целовать, дядюшка, твоей ручки. Ты мой отец... *(К матери.)* Который бишь?

Г-жа Простакова. Второй.

Митрофан. Второй? Второй отец, дядюшка.

Стародум. Я, сударь, тебе ни отец, ни дядюшка.

Г-жа Простакова. Батюшка, вить робенок, может быть, свое счастье прорекает: авось-либо сподобит бог быть ему и впрямь твоим племянничком.

Скотинин. Право! А я чем не племянник? Ай, сестра!

Г-жа Простакова. Я, братец, с тобою лаяться не стану. *(К Стародуму.)* Отроду, батюшка, ни с кем не бранивалась. У меня такой нрав. Хоть разругай, век слова не скажу. Пусть же, себе на уме, бог тому заплатит, кто меня, бедную, обижает.

Стародум. Я это приметил, как скоро ты, сударыня, из дверей показалась.

Правдин. А я уже три дни свидетелем ее добронравия.

Стародум. Этой забавы я так долго иметь не могу. Софьюшка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву.

Г-жа Простакова. Ах, батюшка! За что такой гнев?

Простаков. За что немилость?

Г-жа Простакова. Как! Нам расстаться с Софьюшкой! С сердечным нашим другом! Я с одной тоски хлеба отстану.

Простаков. А я уже тут сгиб да пропал.

Стародум. О! Когда же вы так ее любите, то должен я вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтоб сделать ее счастье. Мне представлен в женихи ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам.

Г-жа Простакова. Ах, уморил!
Милон. Что я слышу*! Софья кажется пораженною*.
Скотинин. Вот те раз!
Простаков. Вот тебе на! *Простаков всплеснул руками*. *(Все вместе.)*

Еремеевна печально кивнула головою.

Правдин показывает вид огорченного удивления.

Стародум (приметя всех смятение). Что это значит? *(К Софье.)* Софьюшка, друг мой, и ты мне кажешься в смущении? Неужель мое намерение тебя огорчило? Я заступаю место отца твоего. Поверь мне, что я знаю его права. Они нейдут далее, как отвращать несчастную склонность дочери, а выбор достойного человека зависит совершенно от ее сердца. Будь спокойна, друг мой! Твой муж, тебя достойный, кто б он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Поди за кого хочешь.

Все принимают веселый вид.

Софья. Дядюшка! Не сумневайтесь в моем повиновении.

Милон (в сторону). Почтенный человек!

Г-жа Простакова (с веселым видом). Вот отец! Вот послушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой...

Скотинин. Из ребят давно уж вышел...

Г-жа Простакова. У кого достаточек, хоть и небольшой...

Скотинин. Да свиной завод не плох...

Г-жа Простакова. Так и в добрый час в архангельский.
Скотинин. Так веселым пирком, ды за свадебку. *(Вместе.)*

Стародум. Советы ваши беспристрастны. Я это вижу.

Скотинин. То ль еще увидишь, как опознаешь меня покороче. Вишь ты, здесь содомно. Через час место приду к тебе один. Тут дело и сладим. Скажу, не похвалясь: каков я, право таких мало. *(Отходит.)*

Стародум. Это всего вероятнее.

Г-жа Простакова. Ты, мой батюшка, не диви на братца...

Стародум. А он ваш братец?

Г-жа Простакова. Родной, батюшка. Вить и я по отце Скотининых. Покойник батюшка женился на покойнице матушке. Она была по прозванию Приплодиных. Нас, детей, было с них восемнадцать человек; да, кроме меня с братцем, все, по власти господней, примерли. Иных из бани мертвых вытащили. Трое, похлебав молочка из медного котлика, скончались. Двое о святой неделе с колокольни свалились; а достальные сами не стояли, батюшка.

Стародум. Вижу, каковы были и родители ваши.

Г-жа Простакова. Старинные люди, мой отец! Не нынешний был век. Нас ничему не учили. Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу. К статью ли, покойник-свет и руками и ногами, царство ему небесное! Бывало, изволит закричать: прокляну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет.

Правдин. Вы, однако ж, своего сынка кое-чему обучаете.

Г-жа Простакова (к Правдину). Да ныне век другой, батюшка! *(К Стародуму.)* Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Мой Митрофанушка из-за книги не встает по суткам. Материно мое сердце. Иное жаль, жаль, да подумаешь: зато будет и детина хоть куда. Вить вот уж ему, батюшка, шестнадцать лет исполнится около зимнего Николы. Жених хоть кому, а все-таки учители ходят, часа не теряет, и теперь двое в сенях дожидаются. *(Мигнула Еремеевне, чтоб их позвать.)* В Москве же приняли иноземца на пять лет и, чтоб другие не сманили, контракт в полиции заявили. Подрядился учить, чему мы хотим, а по нас учи, чему сам умеешь. Мы весь родительский долг исполнили, немца приняли и деньги по третям наперед ему платим. Желала б я душевно, чтоб ты сам, батюшка, полюбовался на Митрофанушку и посмотрел бы, что он выучил.

Стародум. Я худой тому судья, сударыня.

Г-жа Простакова (увидя Кутейкина и Цыфиркина). Вот и учители! Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покою не имеет. Свое дитя хвалить дурно, а куда не бессчастна будет та, которую приведет бог быть его женою.

Правдин. Это все хорошо; не забудьте, однако ж, сударыня, что гость ваш теперь только из Москвы приехал и что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына.

Стародум. Признаюсь, что я рад бы отдохнуть и от дороги и от всего того, что слышал и что видел.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Все готово. Сама для тебя комнату убирала.

Стародум. Благодарен. Софьюшка, проводи же меня.

Г-жа Простакова. А мы-то что? Позволь, мой батюшка, проводить себя и мне, и сыну, и мужу. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся, лишь бы дельце наше сладить.

Стародум (к Правдину). Когда же мы увидимся? Отдохнув, я сюда приду.

Правдин. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть.

Стародум. Рад душою. *(Увидя Милона, который ему с почтением поклонился, откланивается и ему учтиво.)*

Г-жа Простакова. Так милости просим.

Кроме учителей, все отходят. Правдин с Милоном в сторону, а прочие в другую.

Явление VI

Кутейкин и Цыфиркин.

Кутейкин. Что за бесовщина! С самого утра толку не добьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет.

Цыфиркин. А наш брат и век так живет. Дела не делай, от дела не бегай. Вот беда нашему брату, как кормят плохо, как сегодни к здешнему обеду провианту не стало...

Кутейкин. Да кабы не умудрил и меня владыко, шедши сюда, забрести на перепутье к нашей просвирне, взалках бы, яко пес ко вечеру.

Цыфиркин. Здешни господа добры командеры!..

Кутейкин. Слыхал ли ты, братец, каково житье-то здешним челядинцам; даром, что ты служивый, бывал на баталиях, страх и трепет приидет на тя...

Цыфиркин. Вот на! Слыхал ли? Я сам видал здесь беглый огонь в сутки сряду часа по три. *(Вздохнув.)* Охти мне! Грусть берет.

Кутейкин (вздохнув). О, горе мне грешному!

Цыфиркин. О чем вздохнул, Сидорыч?

Кутейкин. И в тебе смятеся сердце твое, Пафнутьевич?

Цыфиркин. За неволю призадумаешься... Дал мне бог ученичка, боярского сынка. Бьюсь с ним третий год: трех перечесть не умеет.

Кутейкин. Так у нас одна кручина. Четвертый год мучу свой живот. По сесть час, кроме задов, новой строки не разберет; да и зады мямлит, прости господи, без складу по складам, без толку по толкам.

Цыфиркин. А кто виноват? Лишь он грифель в руки, а немец в двери. Ему шабаш из-за доски, а меня ради в толчки.

Кутейкин. Тут мой ли грех? Лишь указку в персты, басурман в глаза. Ученичка по головке, а меня по шее.

Цыфиркин (с жаром). Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски.

Кутейкин. Меня хоть теперь шелепами, лишь бы выю грешничу путем накостылять.

Явление VII

Те же, г-жа Простакова и Митрофан.

Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка.

Митрофан. Ну! А там что?

Г-жа Простакова. А там и женисся.

Митрофан. Слушай, матушка. Я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний раз и чтоб сегодни ж быть сговору.

Г-жа Простакова. Придет час воли божией!

Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел.

Цыфиркин очинивает грифель.

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг мой! Софьюпшкины денежки было б куды класть.

Митрофан. Ну! Давай доску, гарнизонна крыса! Задавай, что писать.

Цыфиркин. Ваше благородие, завсегда без дела лаяться изволите.

Г-жа Простакова (работая). Ах, господи боже мой! Уж робенок не смей и избранить Пафнутьича! Уж и разгневался!

Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица: собака лает, ветер носит.

Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся.

Цыфиркин. Всё зады, ваше благородие. Вить с задами-то век назади останесся.

Г-жа Простакова. Не твое дело, Пафнутьич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом, да залететь далеко, да и боже избави!

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад, идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собою Сидорыча. Нашли мы трое...

Митрофан *(пишет).* Трое.

Цыфиркин. На дороге, на приклад же, триста рублев.

Митрофан *(пишет).* Триста.

Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата?

Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды три – три. Единожды ноль – ноль. Единожды ноль – ноль.

Г-жа Простакова. Что, что до дележа?

Митрофан. Вишь, триста рублев, что нашли, троим разделить.

Г-жа Простакова. Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке.

Митрофан. Слышь, Пафнутьич, задавай другую.

Цыфиркин. Пиши, ваше благородие. За ученье жалуете мне в год десять рублей.

Митрофан. Десять.

Цыфиркин. Теперь, правда, не за что, а кабы ты, барин, что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было и еще прибавить десять.

Митрофан *(пишет).* Ну, ну, десять.

Цыфиркин. Сколько ж бы на год?

Митрофан *(вычисляя, шепчет).* Нуль да нуль — нуль. Один да один... *(Задумался.)*

Г-жа Простакова. Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а все, вижу, пустота. Денег нет — что считать? Деньги есть — сочтем и без Пафнутьича хорошохонько.

Кутейкин. Шабашь, право, Пафнутьич. Две задачи решены. Вить на поверку приводить не станут.

Митрофан. Не бось, брат. Матушка тут сама не ошибется. Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вчерашнее.

Кутейкин (открывает часослов, Митрофап берет указку). Начнем благословясь. За мною, со вниманием. «Аз же есмь червь...»

Митрофан. «Аз же есмь червь...»

Кутейкин. Червь, сиречь животина, скот. Сиречь: «аз есмь скот».

Митрофан. «Аз есмь скот».

Кутейкин *(учебным голосом).* «А не человек».

Митрофан *(так же).* «А не человек».

Кутейкин. «Поношение человеков».

Митрофан. «Поношение человеков».

Кутейкин. «И уни...»

Явление VIII

Те же и Вральман.

Вральман. Ай! ай! ай! ай! ай! Теперь-то я фижу! Умарит хатят репенка! Матушка ты мая! Сшалься нат сфаей утропой, катора тефять месесоф таскала, — так скасать, асмое тифа ф сфете. Тай фолю этим преклятым слатеям. Ис такой калафы толго ль палфан? Уш диспозисион[4], уш фсё есть.

Г-жа Простакова. Правда. Правда твоя, Адам Адамыч! Митрофанушка, друг мой, коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань.

Митрофан. А по мне и подавно.

Кутейник *(затворяя часослов)*. Конец и богу слава.

Вральман. Матушка мая! Што тепе надопно? Што? Сынок, какоф ест, да тал бог старовье, или сынок премудрый, так скасать, Аристотелис, да в могилу.

Г-жа Простакова. Ах, какая страсть, Адам Адамыч! Он же и так вчера небережно поужинал.

Вральман. Рассути ш, мать мая, напил прюхо лишне: педа. А фить калоушка-то у нефо караздо слане прюха; напить ее лишне да и захрани поже!

[4] Предрасположение.

Г-жа Простакова. Правда твоя, Адам Адамыч; да что ты станешь делать? Робенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург; скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много. Их-то я боюсь.

Вральман. Чефо паяться, мая матушка? Расумнай шеловек никахта ефо не сатерет, никахта з ним не саспорит; а он с умными лютьми не сфясыфайся, так и пудет плаготенствие пожие!

Г-жа Простакова. Вот как надобно тебе на свете жить, Митрофанушка!

Митрофан. Я и сам, матушка, до умниц-то не охотник. Свой брат завсегда лучше.

Вральман. Сфая кампания то ли тело!

Г-жа Простакова. Адам Адамыч! Да из кого ж ты ее выберешь?

Вральман. Не крушинься, мая матушка, не крушинься; какоф тфой тражайший сын, таких на сфете миллионы, миллионы. Как ему не фыпрать сепе кампаний?

Г-жа Простакова. То даром, что мой сын. Малый острый, проворный.

Вральман. То ли пы тело, капы не самарили ефо на ушенье! Россиска крамат! Арихметика! Ах, хоспоти поже мой, как туша ф теле остаёса! Как путто пы россиски тфорянин уш и не мог ф сфете аванзировать[5] пез россиской крамат!

Кутейкин (в сторону). Под язык бы тебе труд и болезнь.

Вральман. Как путто пы до арихметики пыли люти тураки несчетные!

Цыфиркин (в сторону). Я те ребра-то пересчитаю. Попадесся ко мне.

Вральман. Ему потрепно снать, как шить ф сфете. Я снаю сфет наизусть. Я сам терта калашь.

Г-жа Простакова. Как тебе не знать большого свету, Адам Адамыч? Я чай, и в одном Петербурге ты всего нагляделся.

Вральман. Тафольно, мая матушка, тафольно. Я сафсегда ахотник пыл смотреть публик. Пыфало, о праснике съетутца в Катрингоф кареты с хоспотам. Я фсё на них сматру. Пыфало, не сойту ни на минуту с косел.

Г-жа Простакова. С каких козел?

Вральман (в сторону). Ай! ай! ай! ай! Што я зафрал! *(Вслух.)* Ты, матушка, снаешь, што сматреть фсегта лофче зповыши. Так я, пыфало, на снакому карету и сасел, та и сматру польшой сфет с косел.

Г-жа Простакова. Конечно, виднее. Умный человек знает, куда взлезть.

Вральман. Ваш трашайший сын также на сфете как-нипудь фсмаститца, лютей пасматреть и сепя покасать. Уталец!

Митрофан, стоя на месте, перевертывается.

Вральман. Уталец! Не постоит на месте, как тикой конь пез усды. Ступай! Форт[6]!

Митрофан убегает.

Г-жа Простакова (усмехаясь радостно). Робенок, право, хоть и жених. Пойти за ним, однако ж, чтоб он с резвости без умыслу чем-нибудь гостя не прогневал.

Вральман. Поти, мая матушка! Салётна птиса! С ним тфои гласа натопно.

Г-жа Простакова. Прощай же, Адам Адамыч! *(Отходит.)*

---

[5] Продвигаться по службе (от франц. *avancer*).

[6] Вон! (от нем. *fort*)

Явление IX

Вральман, Кутейкин и Цыфиркин.

Цыфиркин *(насмехаясь).* Эка образина!

Кутейкин *(насмехаясь).* Притча во языцех!

Вральман. Чему фы супы-то скалите, нефежи?

Цыфиркин (ударив по плечу). А ты что брови-то нахмурил, чухонска сова?

Вральман. Ой! ой! шелесны лапы!

Кутейкин (ударив по плечу). Филин треклятый! Что ты буркалами-то похлопываешь?

Вральман (тихо). Пропаль я. *(Вслух.)* Што фы истефаетесь, репята, што ли, нато мною?

Цыфиркин. Сам праздно хлеб ешь и другим ничего делать не даешь; да ты ж еще и рожи не уставишь.

Кутейкин. Уста твоя всегда глаголаша гордыню, нечестивый.

Вральман (оправляясь от робости). Как фы терсаете нефешничать перед ушоной персоной? Я накраул сакричу.

Цыфиркин. А мы те и честь отдадим. Я доскою...

Кутейкин. А я часословом.

Вральман. Я хоспоже на фас пошалаюсь.

Цыфиркин, замахиваясь доскою, а Кутейкин часословом.

Цыфиркин. Раскрою тебе рожу напятеро.
Кутейкин. Зубы грешника сокрушу. *(Вместе).*

Вральман бежит.

Цыфиркин. Ага! Поднял трус ноги!

Кутейкин. Направи стопы своя, окаянный!

Вральман (в дверях). Што фсяли, бестия? Сюта сунтесь.

Цыфиркин. Уплел! Мы бы дали тебе таску!

Вральман. Лих не паюсь теперь, не паюсь.

Кутейкин. Засел пребеззаконный! Много ль там вас, басурманов-то? Всех высылай!

Вральман. С атним не слатили! Эх, прат, фсяли!
Цыфиркин. Один десятерых уберу!
Кутейкин. Во утрие избию вся грешныя земли! *(Все вдруг кричат.)*

Конец третьего действия.

Действие четвертое

Явление I

Софья.

Софья *(одна, глядя на часы).* Дядюшка скоро должен вытти. *(Садясь.)* Я его здесь подожду. *(Вынимает книжку и прочитав несколько.)* Это правда. Как не быть довольну сердцу, когда спокойна совесть! *(Прочитав опять несколько.)* Нельзя не любить правил добродетели. Они — способы к счастью. *(Прочитав еще несколько, взглянула и, увидев Стародума, к нему подбегает.)*

Явление II

Софья и Стародум.

Стародум. А! ты уже здесь, друг мой сердечный!

Софья. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку.

Стародум. Какую?

Софья. Французскую. Фенелона, о воспитании девиц.

Стародум. Фенелона? Автора Телемака? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель. Сядем. *(Оба сели.)* Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливу, сколько в свете быть возможно.

Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйте сердцем моим. Оно готово вам повиноваться.

Стародум. Мне приятно расположение души твоей. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какою искренностию я говорить буду. Поближе.

Софья подвигает стул свой.

Софья. Дядюшка! Всякое слово ваше врезано будет в сердце мое.

Стародум *(с важным чистосердечием).* Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни, где всего чаще первая встреча бывает: умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствиях. О мой друг! Умей различить, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была б надежною порукою за твой разум и сердце.

Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ль, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал?

Стародум. Дурное расположение людей, не достойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают; а

обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет.

Софья. Возможно ль, дядюшка, чтоб были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно оттого, что есть в других хорошее. Добродетельный человек сжалиться должен над такими несчастными.

Стародум. Они жалки, это правда; однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, ежели б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить.

Софья. Да скажите ж мне, пожалуйста, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелен?

Стародум. Поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтоб быть добродетельну. Надобно захотеть решительно, и там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызала.

Софья. Кто ж остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучит его совесть?

Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели как судья наказывает.

Софья. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, что делает. Надобно, чтоб душа его очень была низка, когда она не выше дурного дела.

Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно.

Софья. Мне казалось, дядюшка, что все люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство...

Стародум. Так, мой друг! И я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мой расчет. Степени знатности рассчитаю я по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия; не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Мой знатный человек, конечно, счастлив. Богач мой тоже. По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

Софья. Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит...

Стародум. А того не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет; того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут завидовать нечему: без знатных дел знатное состояние ничто.

Софья. Конечно, дядюшка! И такой знатный никого счастливым не сделает, кроме себя одного.

Стародум. Как! А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что, как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает. Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было

хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одною боязнию: рано или поздно сверзиться. Скажи ж, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а лишь есть чего бояться?

Софья. Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?

Стародум. Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он только что ум, самая безделица. С пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много, и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца. Ему необходимо все иметь надобно. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек.

Софья. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека и его должность.

Стародум. Должность! А, мой друг! Как это слово у всех на языке, и как мало его понимают! Всечасное употребление этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует, когда, если б люди понимали его важность, никто не мог бы вымолвить его без душевного почтения. Подумай, что такое должность. Это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочестии и было б совершенно счастливо. Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть ему столько дела: есть люди, которым помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было б таких дворян, которых благородство, можно сказать, погребено с их предками. Дворянин, недостойный быть дворянином! Подлее его ничего на свете не знаю.

Софья. Возможно ль так себя унизить?

Стародум. Друг мой! Что сказал я о дворянине, распространим теперь вообще на человека. У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например, большею частию мужья нынешнего света, не забудем, каковы и жены. О мой сердечный друг! Теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности; где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну

своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость.

Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ль быть ужаснее их состояния? Дом брошен. Люди забывают долг повиновения, видя в самом господине своем раба гнусных страстей его. Имение растощается: оно сделалось ничье, когда хозяин его сам не свой. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа и жены!

Софья. Ах, как я ужасаюсь этого примера!

Стародум. И не дивлюся: он должен привести в трепет добродетельную душу. Я еще той веры, что человек не может быть и развращен столько, чтоб мог спокойно смотреть на то, что видим.

Софья. Боже мой! Отчего такие страшные несчастии!..

Стародум. Оттого, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуют. Дело о том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина — презнатная особа; что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может. Признаюсь тебе, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша...

Софья. Да как достойного мужа не любить дружески?

Стародум. Так. Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благоразумный! Жена добродетельная! Что почтеннее быть может! Надобно, мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны.

Софья. Все, что вы ни говорите, трогает сердце мое...

Стародум *(с нежнейшею горячностию).* И мое восхищается, видя твою чувствительность. От тебя зависит твое счастье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе сердце честного человека. Ты, мой сердечный друг, ты соединяешь в себе обоих полов совершенства. Ласкаюсь, что горячность моя меня не обманывает, что добродетель...

Софья. Ты ею наполнил все мои чувства. *(Бросаясь целовать его руки)* Где она?..

Стародум *(целуя сам ее руки).* Она в твоей душе. Благодарю бога, что в самой тебе нахожу твердое основание твоего счастия. Оно не будет зависеть ни от

знатности, ни от богатства. Все это прийти к тебе может; однако для тебя есть счастье всего этого больше. Это то, чтоб чувствовать себя достойною всех благ, которыми ты можешь наслаждаться...

Софья. Дядюшка! Истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Я знаю цену...

Явление III

Те же и камердинер.

Камердинер подает письмо Стародуму.

Стародум. Откуда?

Камердинер. Из Москвы, с нарочным. *(Отходит.)*

Стародум *(распечатав и смотря на подпись).* Граф Честан. А! *(Начиная читать, показывает вид, что глаза разобрать не могут.)* Софьюшка! Очки мои на столе, в книге.

Софья (отходя). Тотчас, дядюшка.

Явление IV

Стародум.

Стародум (один). Он, конечно, пишет ко мне о том же, о чем в Москве сделал предложение. Я не знаю Милона; но когда дядя его мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком... Если свободно ее сердце...

Явление V

Стародум и Софья.

Софья *(подавая очки).* Нашла, дядюшка.

Стародум (читает). «...Я теперь только узнал... ведет в Москву свою команду... Он с вами должен встретиться... Сердечно буду рад, если он увидится с вами... Возьмите труд узнать образ мыслей его». *(В сторону.)* Конечно. Без того ее не выдам... «Вы найдете... Ваш истинный друг...» Хорошо. Это письмо до тебя принадлежит. Я сказывал тебе, что молодой человек, похвальных свойств, представлен... Слова мои тебя смущают, друг мой сердечный. Я это и давеча приметил и теперь вижу. Доверенность твоя ко мне...

Софья. Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка. Я чистосердечно скажу вам...

Явление VI

Те же, Правдин и Милон.

Правдин. Позвольте представить вам господина Милона, моего истинного друга.

Стародум *(в сторону).* Милон!

Милон. Я почту за истинное счастие, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей...

Стародум. Граф Честан не свойственник ли ваш?

Милон. Он мне дядя.

Стародум. Мне очень приятно быть знакому с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам всю справедливость. Особливые достоинствы...

Милон. Это его ко мне милость. В мои лета и в моем положении было бы непростительное высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди.

Правдин. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы его узнаете короче. Он бывал часто в доме покойной сестрицы вашей...

Стародум оглядывается на Софью.

Софья *(тихо Стародуму и в большой робости).* И матушка любила его, как сына.

Стародум *(Софье).* Мне это очень приятно. *(Милону.)* Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша...

Милон. Я делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустрашимости, буде есть во мне она.

Стародум. Как! Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою...

Милон. Я подвергал ее, как прочие. Тут храбрость была такое качество сердца, какое солдату велит иметь начальник, а офицеру честь. Признаюсь вам искренно, что показать прямой неустрашимости не имел я еще никакого случая, испытать же себя сердечно желаю.

Стародум. Я крайне любопытен знать, в чем же полагаете вы прямую неустрашимость?

Милон. Если позволите мне сказать мысль мою, я полагаю истинную неустрашимость в душе, а не в сердце. У кого она в душе, у того, без всякого сомнения, и храброе сердце. В нашем военном ремесле храбр должен быть воин, неустрашим военачальник. Он с холодною кровью усматривает все степени опасности, принимает нужные меры, славу свою предпочитает жизни; но что всего более — он для пользы и славы отечества не устрашается забыть свою собственную славу. Неустрашимость его состоит, следственно, не в том, чтоб презирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает. Он умеет ею жертвовать.

Стародум. Справедливо. Вы прямую неустрашимость полагаете в военачальнике. Свойственна ли же она и другим состояниям?

Милон. Она добродетель; следственно, нет состояния, которое ею не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость души во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отлаживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, который, не убояся ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. Как мала душа того, кто за безделицу вызовет на дуэль, перед тем, кто вступится за отсутствующего, которого честь при нем клеветники терзают! Я понимаю неустрашимость так...

Стародум. Как понимать должно тому, у кого она в душе. Обоими меня, друг мой! Извини мое простосердечие. Я друг честных людей. Это чувство вкоренено в

мое воспитание. В твоем вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком просвещенным.

Милон. Душа благородная!.. Нет... не могу скрывать более моего сердечного чувства... Нет. Добродетель твоя извлекает силою своею все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье. Я полагаю его в том, чтоб иметь женою любезную племянницу вашу. Взаимная наша склонность...

Стародум *(к Софье, с радостью).* Как! Сердце твое умело отличить того, кого я сам предлагал тебе? Вот мой тебе жених...

Софья. И я люблю его сердечно.

Стародум. Вы оба друг друга достойны. *(В восхищении соединяя их руки.)* От всей души моей даю вам мое согласие.

Милон *(обнимая Стародума).* Мое счастье несравненно!
Софья *(целуя руки Стародумовы).* Кто может быть счастливее меня! *(Вместе.)*

Правдин. Как искренно я рад!

Стародум. Мое удовольствие неизреченно!

Милон *(целуя руку Софьи).* Вот минута нашего благополучия!

Софья. Сердце мое вечно любить тебя будет.

Явление VII

Те же и Скотинин.

Скотинин. И я здесь.

Стародум. Зачем пожаловал?

Скотинин. За своей нуждой.

Стародум. А чем я могу служить?

Скотинин. Двумя словами.

Стародум. Какими это?

Скотинин. Обняв меня покрепче, скажи: Софьюшка твоя.

Стародум. Не пустое ль затевать изволишь? Подумай-ко хорошенько.

Скотинин. Я никогда не думаю и наперед уверен, что коли и ты думать не станешь, то Софьюшка моя.

Стародум. Это странное дело! Человек ты, как вижу, не без ума, а хочешь, чтоб я отдал мою племянницу, за кого — не знаю.

Скотинин. Не знаешь, так скажу. Я Тарас Скотинин, в роде своем не последний[7]. Род Скотининых великий и старинный. Пращура нашего ни в какой герольдии не отыщешь[8].

[7] Ироническое использование официальной формулы дворянских родословных.

[8] В сенате существовал департамент герольдии, занимавшийся делами дворян (выдавал документы о происхождении, о предках, о прохождении службы, о получении наград и т. д.).

Правдин *(смеючись).* Эдак вы нас уверите, что он старее Адама[9].

Скотинин. А что ты думаешь? Хоть немногим...

Стародум *(смеючись.)* То есть пращур твой создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама?

Скотинин. Нет, право? Так ты доброго мнения о старине моего рода?

Стародум. О! такого-то доброго, что я удивляюсь, как на твоем месте можно выбирать жену из другого рода, как из Скотининых?

Скотинин. Рассуди же, какое счастье Софьюшке быть за мною. Она дворянка...

Стародум. Экой человек! Да для того-то ты ей и не жених.

Скотинин. Уж я на то пошел. Пусть болтают, что Скотинин женился на дворяночке. Для меня все равно.

Стародум. Да для нее не все равно, когда скажут, что дворянка вышла за Скотинина.

Милон. Такое неравенство сделало б несчастье вас обоих.

Скотинин. Ба! Да этот что тут равняется? *(Тихо Стародуму.)* А не отбивает ли?

Стародум *(тихо Скотинину).* Мне так кажется.

Скотинин *(тем же тоном).* Да где черту!

Стародум *(тем же тоном).* Тяжело.

Скотинин *(громко, указывая на Милона).* Кто ж из нас смешон? Ха-ха-ха-ха!

Стародум *(смеется).* Вижу, кто смешон.

Софья. Дядюшка! Как мне мило, что вы веселы.

Скотинин *(Стародуму).* Ба! Да ты весельчак. Давеча я думал, что к тебе приступу нет. Мне слова не сказал, а теперь все со мной смеешься.

Стародум. Таков человек, мой друг! Час на час не приходит.

Скотинин. Это и видно. Вить и давеча был я тот же Скотинин, а ты сердился.

Стародум. Была причина.

Скотинин. Я ее и знаю. Я и сам в этом таков же. Дома, когда зайду в клева да найду их не в порядке, досада и возьмет. И ты, не в пронос слово, заехав сюда, нашел сестрин дом не лучше клевов, тебе и досадно.

Стародум. Ты меня счастливее. Меня трогают люди.

Скотинин. А меня так свиньи.

Явление VIII

Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан и Еремеевна.

Г-жа Простакова *(входя).* Всё ль с тобою, друг мой?

Простаков. Ну, да уж не заботься.

[9] В библии рассказывается, что бог сотворил мир в шесть дней. В шестой день с начала сотворения были созданы звери, а уж потом Адам. Правдин иронически намекает зрителю, что Скотинин произошел не от человека (Адама).

Г-жа Простакова (Стародуму). Хорошо ли отдохнуть изволил, батюшка? Мы все в четвертой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не обеспокоить; не смели в дверь заглянуть; послышим, ан уж ты давно и сюда вытти изволил. Не взыщи, батюшка...

Стародум. О сударыня, мне очень было бы досадно, ежели б вы сюда пожаловали ране.

Скотинин. Ты, сестра, как на смех, все за мною по пятам. Я пришел сюда за своею нуждою.

Г-жа Простакова. А я так за своею. *(Стародуму.)* Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь общею нашею просьбою. *(Мужу и сыну.)* Кланяйтесь.

Стародум. Какою, сударыня?

Г-жа Простакова. Во-первых, прошу милости всех садиться.

Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны.

Г-жа Простакова. Вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей наших, — нам, грешным, где б и умолить, — даровал нам господь Митрофанушку. Мы все делали, чтоб он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ль, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен?

Стародум. О сударыня! До моих ушей уже дошло, что он теперь только и отучиться изволил. Я слышал об его учителях и вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Цыфиркина. *(К Правдину.)* Любопытен бы я был послушать, чему немец-то его выучил.

Г-жа Простакова. Всем наукам, батюшка.
Простаков. Всему, мой отец. *(Вместе.)*
Митрофан. Всему, чему изволишь.

Правдин (Митрофану). Чему ж бы, например?

Митрофан *(подает ему книгу).* Вот, грамматике.

Правдин (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна…

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь, котора дверь?

Правдин. Котора дверь! Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему же?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна.

Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку?

Митрофан. И ведомо.

Г-жа Простакова. Что, каково, мой батюшка?

Митрофан. Каково, мой отец?

Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силен.

Милон. Я думаю, не меньше и в истории.

Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.

Скотинин. Митрофан по мне. Я сам без того глаз не сведу, чтоб выборный не рассказывал мне историй. Мастер, собачий сын, откуда что берется!

Г-жа Простакова. Однако все-таки не придет против Адама Адамыча.

Правдин (Митрофану). А далеко ли вы в истории?

Митрофан. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь за тридевять земель, за тридесято царство.

Правдин. А! так этой-то истории учит вас Вральман?

Стародум. Вральман? Имя что-то знакомое.

Митрофан. Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что я же, сам охотник слушать.

Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавронью.

Правдин. Да не у ней ли оба вы учились и географии?

Г-жа Простакова (сыну). Слышишь, друг мой сердечный? Это что за наука?

Простаков *(тихо матери).* А я почем знаю.

Г-жа Простакова (тихо Митрофану). Не упрямься, душенька. Теперь-то себя и показать.

Митрофан (тихо матери). Да я не возьму в толк, о чем спрашивают.

Г-жа Простакова (Правдину). Как, батюшка, назвал ты науку-то?

Правдин. География.

Г-жа Простакова *(Митрофану).* Слышишь, еоргафия.

Митрофан. Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.

Г-жа Простакова (Правдину). И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.

Правдин. Описание земли.

Г-жа Простакова (Стародуму). А к чему бы это служило на первый случай?

Стародум. На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, — свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.

Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь.

Г-жа Простакова. Без наук люди живут и жили. Покойник батюшка воеводою был пятнадцать лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит и что-нибудь положит. То-то эконом был! Жизни не жалел, чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не потаю: покойник-свет, лежа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! каково это?

Стародум. Препохвально. Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить такую блаженную кончину.

Скотинин. Да коль доказывать, что ученье вздор, так возьмем дядю Вавилу Фалелеича. О грамоте никто от него и не слыхивал, ни он ни от кого слышать не хотел: а какова была голоушка!

Правдин. Что ж такое?

Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолоку, индо пригнуло дядю к похвям потылицею, и бодрый конь вынес его из ворот к крыльцу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвись, спросил только, целы ли ворота?

Милон. Вы, господин Скотинин, сами признаете себя неученым человеком; однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого.

Стародум *(Милону).* Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы.

Г-жа Простакова. Батюшка мой! Да что за радость и выучиться? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышленее, того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность.

Стародум. А кто посмышленее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам.

Г-жа Простакова. Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой. *(Правдину.)* Ты сам, батюшка, других посмышленее, так сколько трудисся! Вот и теперь, сюда шедши, я видела, что к тебе несут какой-то пакет.

Правдин. Ко мне пакет? И мне никто этого не скажет! *(Вставая.)* Я прошу извинить меня, что вас оставлю. Может быть, есть ко мне какие-нибудь повеления от наместника.

Стародум *(встает и все встают).* Поди, мой друг; однако я с тобою не прощаюсь.

Правдин. Я еще увижусь с вами. Вы завтре едете поутру?

Стародум. Часов в семь.

Правдин отходит.

Милон. А я завтре же, проводя вас, поведу мою команду. Теперь пойду сделать к тому распоряжение.

Милон отходит, прощаясь с Софьею взорами.

Явление IX

Г-жа Простакова, Митрофан, Простаков, Скотинин, Еремеевна, Стародум, Софья.

Г-жа Простакова *(Стародуму).* Ну, мой батюшка! Ты довольно видел, каков Митрофанушка?

Скотинин. Ну, мой друг сердечный? Ты видишь, каков я?

Стародум. Узнал обоих, нельзя короче.

Скотинин. Быть ли ж за мною Софьюшке?

Стародум. Не бывать.

Г-жа Простакова. Жених ли ей Митрофанушка?

Стародум. Не жених.

Г-жа Простакова. А что б помешало?
Скотинин. За чем дело стало? *(Вместе.)*

Стародум *(сведя обоих)*. Вам одним за секрет сказать можно. Она сговорена. *(Отходит и дает знак Софье, чтоб шла за ним.)*

Г-жа Простакова. Ах, злодей!

Скотинин. Да он рехнулся.

Г-жа Простакова *(с нетерпением)*. Когда они выедут?

Скотинин. Вить ты слышала, поутру в семь часов.

Г-жа Простакова. В семь часов.

Скотинин. Завтре и я проснусь с светом вдруг. Будь он умен, как изволит, а и с Скотининым развяжешься не скоро. *(Отходит.)*

Г-жа Простакова (бегая по театру в злобе и в мыслях). В семь часов!.. Мы встанем поране... Что захотела, поставлю на своем... Все ко мне.

Все подбегают.

Г-жа Простакова (к мужу). Завтре в шесть часов, чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу. Слышишь ли ты? Не прозевай.

Простаков. Слушаю, мать моя.

Г-жа Простакова (к Еремеевне). Ты во всю ночь не смей вздремать у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко мне.

Еремеевна. Не промигну, моя матушка.

Г-жа Простакова (сыну). Ты, мой друг сердечный, сам в шесть часов будь совсем готов и поставь троих слуг в Софьиной предспальней, да двоих в сенях на подмогу.

Митрофан. Все будет сделано.

Г-жа Простакова. Подите ж с богом. *(Все отходят.)* А я уж знаю, что делать. Где гнев, тут и милость. Старик погневается да простит и за неволю. А мы свое возьмем.

Конец четвертого действия.

Действие пятое

Явление I

Стародум и Правдин.

Правдин. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила.

Стародум. Итак, ты имеешь теперь способ прекратить бесчеловечие злой помещицы?

Правдин. Мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди.

Стародум. Благодарение богу, что человечество найти защиту может! Поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права. Там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно... и что угнетать рабством себе подобных беззаконно.

Правдин. Я в этом согласен с вами; да как мудрено истреблять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды!

Стародум. Слушай, друг мой! Великий государь есть государь премудрый. Его дело показать людям прямое их благо. Слава премудрости его та, чтоб править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому что немного надобно ума пасти скотину. Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных. Мы это видим своими глазами.

Правдин. Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать...

Стародум. А! Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться! Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных! И во-первых, толпа скаредных льстецов...

Правдин. Без душевного презрения нельзя себе вообразить, что такое льстец.

Стародум. Льстец есть тварь, которая не только о других, ниже о себе хорошего мнения не имеет. Все его стремление к тому, чтоб сперва ослепить ум у человека, а потом делать из него, что ему надобно. Он ночной вор, который сперва свечу погасит, а потом красть станет.

Правдин. Несчастиям людским, конечно, причиною собственное их развращение; но способы сделать людей добрыми...

Стародум. Они в руках государя. Как скоро все видят, что без благонравия никто не может вытти в люди; что ни подлой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга; что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми, — тогда всякий находит свою выгоду быть благонравным и всякий хорош становится.

Правдин. Справедливо. Великий государь дает...

Стародум. Милость и дружбу тем, кому изволит; места и чины тем, кто достоин.

Правдин. Чтоб в достойных людях не было недостатку, прилагается ныне особливое старание о воспитании...

Стародум. Оно и должно быть залогом благосостояния государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну, что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин.

Правдин. Но особы высшего состояния просвещают детей своих...

Стародум. Так, мой друг; да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих, благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему и ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения.

Правдин. Надобно действительно, чтоб всякое состояние людей имело приличное себе воспитание; тогда можно быть уверену... Что за шум?

Стародум. Что такое сделалось?

Явление II

Те же, Милон, Софья, Еремеевна.

Милон *(отталкивая от Софьи Еремеевну, которая за нее было уцепилась, кричит к людям, имея в руке обнаженную шпагу).* Не смей никто подойти ко мне!

Софья *(бросаясь к Стародуму).* Ах, дядюшка! Защити меня!

Стародум. Друг мой! Что такое?
Правдин. Какое злодеяние!
Софья. Сердце мое трепещет!
Еремеевна. Пропала моя головушка! *(Вместе.)*

Милон. Злодеи! Идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватя ее под руки, несмотря на сопротивление и крик, сводят уже с крыльца к карете.

Софья. Вот мой избавитель!

Стародум *(к Милону).* Друг мой!

Правдин (Еремеевне). Сейчас скажи, куда везти хотели, или как с злодейкой...

Еремеевна. Венчаться, мой батюшка, венчаться!

Г-жа Простакова (за кулисами). Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить велю до смерти!

Явление III

Г-жа Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан.

Простакова. Какая я госпожа в доме! *(Указывая на Милона).* Чужой погрозит, приказ мой ни во что.

Простаков. Я ли виноват?
Митрофан. За людей приниматься? *(Вместе.)*
Г-жа Простакова. Жива быть не хочу.

Правдин. Злодеяние, которому я сам свидетель, дает право вам, как дяде, а вам, как жениху...

Г-жа Простакова. Жениху!
Простаков. Хороши мы! *(Вместе.)*
Митрофан. Всё к черту!

Правдин. Требовать от правительства, чтоб сделанная ей обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас представлю ее перед суд, как нарушительницу гражданского спокойства.

Г-жа Простакова *(бросаясь на колени).* Батюшки, виновата!

Правдин. Муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии...

Простаков. Без вины виноват!
Митрофан. Виноват, дядюшка! *(Вместе, бросаясь на колени.)*

Г-жа Простакова. Ах я, собачья дочь! Что я наделала!

Явление IV

Те же и Скотинин.

Скотинин. Ну, сестра, хорошу было шутку... Ба! Что это? Все наши на коленях!

Г-жа Простакова *(стоя на коленях).* Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет. Мой грех! Не губите меня. *(К Софье.)* Мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись надо мною *(указывая на мужа и сына)* и над бедными сиротами.

Скотинин. Сестра! О своем ли ты уме?

Правдин. Молчи, Скотинин.

Г-жа Простакова. Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим, что тебе в голове моей?

Софья *(Стародуму).* Дядюшка! Я мое оскорбление забываю.

Г-жа Простакова *(подняв руки к Стародуму).* Батюшка! Прости и ты меня, грешную. Вить я человек, не ангел.

Стародум. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да и не надобно быть и чертом.

Милон. И преступление и раскаяние в ней презрения достойны.

Правдин *(Стародуму).* Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово пред правительством... и уж спасти ее нельзя.

Стародум. Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю.

Все вскочили с коленей.

Г-жа Простакова. Простил! Ах, батюшка!.. Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки.

Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших?

Г-жа Простакова. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях?

Правдин. А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается?

Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?

Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.

Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства[10]?

Стародум. Мастерица толковать указы!

Г-жа Простакова. Извольте насмехаться, а я теперь же всех с головы на голову... *(Порывается идти.)*

Правдин (останавливая ее). Поостановитесь, сударыня. *(Вынув бумагу и важным голосом Простакову.)* Именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей, до которого попустило ее ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни[11].

Простаков. А! До чего мы дожили!

Г-жа Простакова. Как! Новая беда! За что? За что, батюшка? Что я в своем доме госпожа...

Правдин. Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может. *(Простакову.)* Подите.

Простаков *(отходит, всплеснув руками)*. От кого это, матушка?

Г-жа Простакова (тоскуя). О, горе взяло! О, грустно!

Скотинин. Ба! ба! ба! Да эдак и до меня доберутся. Да эдак и всякий Скотинин может попасть под опеку... Уберусь же я отсюда подобру-поздорову.

Г-жа Простакова. Все теряю! Совсем погибаю!

Скотинин (Стародуму). Я шел было к тебе добиться толку. Жених...

Стародум *(указывая на Милона).* Вот он.

---

[10] «Указом о вольности дворянской», изданном в 1762 году Петром III, дворяне освобождались от службы, получали новые льготы и привилегии.

[11] Брать в опеку имения помещиков, то есть вмешиваться в отношения дворян с крестьянами с целью ограничения прав представителей «благородного сословия», может только истинно просвещенный монарх. Таким монархом Екатерина не являлась, но им был в свое время Петр I, который специальным указом и ввел опеку правительства над имениями помещиков-тиранов. В пору своего показного либерализма Екатерина в «Наказе» (1767) в статье 256 напомнила об этом: «Петр I узаконил в 1722 году, чтоб безумные и подданных своих; мучащие были под смотрением опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение, а последнее для чего без действа осталося неизвестно» («Наказ», СПб., 1793, стр. 89). Фонвизин отважно свидетельствовал— указ Петра сознательно не выполняется Екатериной II, она не хочет его применять, и потому, значит, она виновата в преступных действиях Простаковых и Скотининых.

Скотинин. Ага! так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и...

Правдин. Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем Скотининым, чему они подвержены.

Скотинин. Как друзей не остеречь! Повещу им, чтоб они людей...

Правдин. Побольше любили или б по крайней мере...

Скотинин. Ну?..

Правдин. Хоть не трогали.

Скотинин *(отходя).* Хоть не трогали.

Явление V

Г-жа Простакова, Стародум, Правдин, Митрофан, Софья, Еремеевна.

Г-жа Простакова (Правдину). Батюшка, не погуби ты меня, что тебе прибыли? Не возможно ль как-нибудь указ поотменить? Все ли указы исполняются?

Правдин. Я от должности никак не отступлю.

Г-жа Простакова. Дай мне сроку хотя на три дни. *(В сторону.)* Я дала бы себя знать...

Правдин. Ни на три часа.

Стародум. Да, друг мой! Она и в три часа напроказить может столько, что веком не пособишь.

Г-жа Простакова. Да как вам, батюшка, самому входить в мелочи?

Правдин. Это мое дело. Чужое возвращено будет хозяевам, а...

Г-жа Простакова. А с долгами-то разделаться?.. Недоплачено учителям...

Правдин. Учителям? *(Еремеевне.)* Здесь ли они? Введи их сюда.

Еремеевна. Чай, что прибрели. А немца-то, мой батюшка?..

Правдин. Всех позови.

Еремеевна отходит.

Правдин. Не заботься ни о чем, сударыня, я всех удовольствую.

Стародум *(видя в тоске г-жу Простакову).* Сударыня! Ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно.

Г-жа Простакова. Благодарна за милость! Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет!

Явление VI

Те же, Еремеевна, Вральман, Кутейкин и Цыфиркин.

Еремеевна (введя учителей, к Правдину). Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка.

Вральман (к Правдину). Фаше фысоко-и-плахоротие. Исфолили меня к сепе прасить?..

Кутейкин *(к Правдину).* Зван бых и приидох.

Цыфиркин (к Правдину). Что приказу будет, ваше благородие?

Стародум *(с приходу Вральмана в него вглядывается).* Ба! Это ты, Вральман?

Вральман (узнав Стародума). Ай! ай! ай! ай! ай! Это ты, мой милостифый хосподин! *(Целуя полу Стародума.)* Старофенька ли, мой отес, пошифать исфолишь?

Правдин. Как? Он вам знаком?

Стародум. Как не знаком? Он три года у меня был кучером.

Все показывают удивление.

Правдин. Изрядный учитель!

Стародум. А ты здесь в учителях? Вральман! Я думал, право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься.

Вральман. Та што телать, мой патюшка? Не я перфый, не я послетний. Три месеса ф Москфе шатался пез мест, кутшер нихте не ната. Пришло мне липо с голот мереть, липо ушитель...

Правдин (к учителям). По воле правительства став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю.

Цыфиркин. Лучше не надо.

Кутейкин. Отпускать благоволите? Да прежде разочтемся...

Правдин. А что тебе надобно?

Кутейкин. Нет, милосливый господин, мой счетец зело не мал. За полгода за ученье, за обувь, что истаскал в три года, за простой, что сюда прибредешь, бывало, по-пустому, за...

Г-жа Простакова. Ненасытная душа! Кутейкин! За что это?

Правдин. Не мешайтесь, сударыня, я вас прошу.

Г-жа Простакова. Да коль пошло на правду, чему ты выучил Митрофанушку?

Кутейкин. Это его дело. Не мое.

Правдин (Кутейкину). Хорошо, хорошо. *(Цыфиркину.)* Тебе много ль заплатить?

Цыфиркин. Мне? Ничего.

Г-жа Простакова. Ему, батюшка, за один год дано десять рублей, а еще за год ни полушки не заплачено.

Цыфиркин. Так: на те десять рублей я износил сапогов в два года. Мы и квиты.

Правдин. А за ученье?

Цыфиркин. Ничего.

Стародум. Как ничего?

Цыфиркин. Не возьму ничего. Он ничего не перенял.

Стародум. Да тем не меньше тебе заплатить надобно.

Цыфиркин. Не за что. Я государю служил с лишком двадцать лет. За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не возьму.

Стародум. Вот прямо добрый человек!

Стародум и Милон вынимают из кошельков деньги.

Правдин. Тебе не стыдно, Кутейкин?

Кутейкин *(потупя голову).* Посрамихся, окаянный.

Стародум (Цыфиркину). Вот тебе, друг мой, за добрую душу.

Цыфиркин. Спасибо, ваше высокородие. Благодарен. Дарить меня ты волен. Сам, не заслужа, век не потребую.

Милон *(давая ему деньги).* Вот еще тебе, друг мой!

Цыфиркин. И еще спасибо.

Правдин дает также ему деньги.

Цыфиркин. Да за что, ваше благородие, жалуете?

Правдин. За то, что ты не походишь на Кутейкина.

Цыфиркин. И! Ваше благородие. Я солдат.

Правдин (Цыфиркину). Поди ж, мой друг, с богом.

Цыфиркин отходит.

Правдин. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтре да потрудись расчесться с самой госпожою.

Кутейкин (выбегая). С самою! Ото всего отступаюсь.

Вральман (Стародуму). Старофа слуха не остафте, фаше фысокоротие. Фосмите меня апять к сепе.

Стародум. Да ты, Вральман, я чаю, отстал и от лошадей?

Вральман. Эй, нет, мой патюшка! Шиучи с стешним хоспотам, касалось мне, што я фсе с лошатками.

Явление VII

Те же и камердинер.

Камердинер *(Стародуму).* Карета ваша готова.

Вральман. Прикашишь мне дофести сепя?

Стародум. Поди садись на козлы.

Вральман отходит.

Явление последнее

Г-жа Простакова, Стародум, Милон, Софья, Правдин, Митрофан, Еремеевна.

Стародум *(к Правдину, держа руки Софьи и Милана).* Ну, мой друг! Мы едем. Пожелай нам...

Правдин. Всего счастья, на которое имеют право честные сердца.

Г-жа Простакова (бросаясь обнимать сына). Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка!

Простаков. Да отвяжись, матушка, как навязалась...

Г-жа Простакова. И ты! И ты меня бросаешь! А! неблагодарный! *(Упала в обморок.)*

Софья (подбежав к ней). Боже мой! Она без памяти.

Стародум (Софье). Помоги ей, помоги.

Софья и Еремеевна помогают.

Правдин (Митрофану). Негодница! Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья.

Митрофан. Ды она как будто неведомо...

Правдин. Грубиян!

Стародум (Еремеевне). Что она теперь? Что?

Еремеевна *(посмотрев пристально на г-жу Простакову и всплеснув руками).* Очнется, мой батюшка, очнется.

Правдин (Митрофану). С тобой, дружок, знаю что делать. Пошел-ко служить...

Митрофан *(махнув рукою).* По мне, куда велят.

Г-жа Простакова (очнувшись в отчаянии). Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуды глаз показать нельзя! Нет у меня сына!

Стародум *(указав на г-жу Простакову).* Вот злонравия достойные плоды!

КОНЕЦ КОМЕДИИ.

Николай Михайлович Карамзин.
Повесть *«Бедная Лиза»*

О.А. Кипренский
«Бедная Лиза», 1827 г.

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си…нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра*: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся,

там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си…нова монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, — которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою.— «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. — «Продаю», — отвечала она. — «А что тебе надобно?» — «Пять копеек». — «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». — Лиза

удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. — «Для чего же?» — «Мне не надобно лишнего». — «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня».— Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. — «Куда же ты пойдешь, девушка?» — «Домой». — «А где дом твой?» — Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек…» — «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос…» — «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не, брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем место, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». — У Лизы навернулись на глазах слезы; она исцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. — На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. — «Ничего, матушка,— отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела». — «Кого?» — «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка!— сказал он. — Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком,— схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу и благодарил не столько, словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были — нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но

не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. — «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». — Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. — Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин? » — спросила старуха. — «Меня зовут Эрастом», — отвечал он. — «Эрастом, — сказала тихонько Лиза, — Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. — Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами…» — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям»,— думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая,

радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. — Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою… Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и — мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку…* А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не могла отнять у него руки — не могла отворотиться, когда он приближался к ней с розовыми губами своими… Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Милая Лиза!— сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя!», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и… Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! — сказала она. — Всегда ли ты будешь любить меня?» — «Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он. — «И ты можешь мне дать в этом клятву?» — «Могу, любезная Лиза, могу!» — «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» — «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» — «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» — «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать».— «Для чего же?» — «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». — «Нельзя статься». — «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». — «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». — Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться, Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!»— думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» — Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! — говорила она. — Как все хорошо у господа бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались — но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: «Люблю тебя, друг мой!», когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме — Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». — Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» — Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». — Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» — Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что о тобою сделалось?» — «Ах Эраст! Я плакала!» — «О чем? Что такое?» — «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». — «И ты соглашаешься?» — «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» — Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю.— «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — сказала Лиза с тихим вздохом. — «Почему же?» — «Я крестьянка». — «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! — Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная, отчего — не зная, что с нею делается… Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь,— говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя… Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» — Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! — сказала она. — Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. — Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз, ее, когда она прощалась с ним, «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему

счастливы!» — «Будем, Лиза, будем!» — отвечал он. — «Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем… Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее любви исполненными взорами — одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, — а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» — Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход».— Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностию любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так.— сказала Лиза,— то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». — «Я умру, как скоро тебя не будет на свете».— «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!» — «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». — «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». — Старушка осыпала его благословениями. «Дай господи,— говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» — Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании. Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее— и, наконец, скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» — Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. — С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!»— От сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. — Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и

хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя — в Лизиных объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой». — Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна Добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощию сей доброй женщины, — благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» — Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, — к Э….. На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — бог будет ее помощником, — поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую,— скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я…» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там*, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. — Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. — Теперь, может быть, они уже примирились!

1792 г.

Василий Андреевич Жуковский

Стихотворение *«Вечер»*

Элегия

Ручей, вьющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катúшься ты в реку!
Приди, о муза благодатна,

В венке из юных роз, с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды
И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей природы.

Как солнца за горой пленителен закат, —
Когда поля в тени, а рощи отдаленны
И в зеркале воды колеблющийся град
Багряным блеском озаренны;

Когда с холмов златых стада бегут к реке
И рева гул гремит звучнее над водами;
И, сети склав, рыбак на легком челноке
Плывет у брега меж кустами;

Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,
И веслами струи согласно рассекают;
И, плуги обратив, по глыбистым браздам
С полей оратаи съезжают...

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.

Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осененный.

Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!

Чуть слышно над ручьем колышется тростник;
Глас петела вдали уснувши будит селы;
В траве коростеля я слышу дикий крик,
В лесу стенанье филомелы...

Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч?
Восточных облаков хребты воспламенились;
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;
В реке дубравы отразились.

Луны ущербный лик встает из-за холмов...
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем...
О дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!

О братья! о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные природе,

Хранить с огнем души нетленность братских уз?
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишенный спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,

Тащиться осужден до бездны гробовой?..
Один — минутный цвет — почил, и непробудно[1],
И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой... о небо правосудно[2]!..

А мы... ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в сердце вспоминанье.

О радостях души, о счастье юных дней,
И дружбе, и любви, и музам посвященных?
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных...

Мне рок судил: брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!

Кто, в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и хóлмы облачает
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,

Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!

Так, петь есть мой удел... но долго ль?.. Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!

Май-июль 1806 г.

---

[1] Имеется в виду умерший Андрей Тургенев.

[2] Здесь речь идет о товарище поэта по Университетскому благородному пансиону и участнике Дружеского литературного общества С. Е. Родзянко, сошедшем с ума.

Стихотворение *«Море»*

Элегия

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездáми его.
Когда же сбираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезает, и тучи уходят,
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

1822 г.

Стихотворение «Сельское кладбище»

Элегия

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон[3].

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полуночным приходом
Ее безмолвного владычества покой.

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись, стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.

Денницы тихий глас, дня юного дыханье,
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,
Ни ранней ласточки на кровле щебетанье —
Ничто не вызовет почивших из гробов.

На дымном очаге трескучий огнь, сверкая,
Их в зимни вечера не будет веселить,
И дети резвые, встречать их выбегая,
Не будут с жадностью лобзаний их ловить.

Как часто их серпы златую ниву жали
И плуг их побеждал упорные поля!
Как часто их секир дубравы трепетали
И пóтом их лица кропилася земля!

---

[3] В «Вестнике Европы» к этой строке автором сделано примечание: «В Англии привязывают колокольчики к рогам баранов и коров».

Пускай рабы сует их жребий унижают,
Смеяся в слепоте полезным их трудам,
Пускай с холодностью презрения внимают
Таящимся во тьме убогого делам;

На всех ярится смерть — царя, любимца славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдет;
Всемощныя судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко гробу нас ведет!

А вы, наперсники фортуны ослепленны,
Напрасно спящих здесь спешите презирать
За то, что гро́бы их непышны и забвенны,
Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать.

Вотще над мертвыми, истлевшими костями
Трофеи зиждутся, надгробия блестят,
Вотще глас почестей гремит перед гробами —
Угасший пепел наш они не воспалят.

Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою
И невозвратную добычу возвратит?
Не слаще мертвых сон под мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть их бременит.

Ах! может быть, под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить,
И гробожитель-червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!

Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.

Как часто редкий перл, волнами сокровенный,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.

Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный[4],
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию граждан Кромвель необагренный,
Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах.

Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуну презирать,
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —

Того им не дал рок; но вместе преступленьям
Он с доблестями их круг тесный положил;
Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям
И быть жестокими к страдальцам запретил;

Таить в душе своей глас совести и чести,
Румянец робкия стыдливости терять
И, раболепствуя, на жертвенниках лести
Дары небесных муз гордыне посвящать.

Скрываясь от мирских погибельных смятений,
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
Не зная горести, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.

И здесь спокойно спят под сенью гробовою —
И скромный памятник, в приюте сосн густых,
С непышной надписью и ре́зьбою простою,
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.

Любовь на камне сем их память сохранила,
Их ле́та, имена потщившись начертать;
Окрест библейскую мораль изобразила,
По коей мы должны учиться умирать.

И кто с сей жизнию без горя расставался?
Кто прах свой по себе забвенью предавал?
Кто в час последний свой сим миром не пленялся
И взора томного назад не обращал?

---

[4] Джон Гемпден (1596 — 1643), активный участник английской революции XVII века на первых ее этапах.

Ах! нежная душа, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой;
И взоры тусклые, навеки угасая,
Еще стремятся к ним с последнею слезой;

Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлен;
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,
Еще огнем любви для них воспламенен.

А ты, почивших друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой;
И к гробу твоему, мечтой сопровожденный,
Чувствительный придет услышать жребий твой.

Быть может, селянин с почтенной сединою
Так будет о тебе пришельцу говорить:
«Он часто по утрам встречался здесь со мною,
Когда спешил на холм зарю предупредить.

Там в полдень он сидел под дремлющею ивой,
Поднявшей из земли косматый корень свой;
Там часто, в горести беспечной, молчаливой,
Лежал, задумавшись, над светлою рекой;

Нередко в вечеру, скитаясь меж кустами, —
Когда мы с поля шли и в роще соловей
Свистал вечерню песнь, — он томными очами
Уныло следовал за тихою зарей.

Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной,
Он часто уходил в дубраву слезы лить,
Как странник, родины, друзей, всего лишенный,
Которому ничем души не усладить.

Взошла заря — но он с зарею не являлся,
Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил;
Опять заря взошла — нигде он не встречался;
Мой взор его искал — искал — не находил.

Наутро пение мы слышим гробовое...
Несчастного несут в могилу положить.
Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброго слезой благословить».

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли,
Что слава, счастие, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии, печать была на нем.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным творец награду положил.
Дарил несчастных он — чем только мог — слезою;
В награду от творца он друга получил.

Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;
Здесь все оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его спаситель-бог.

1802 г.

Баллада «Светлана»[5]

А. А. Воейковой

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Тускло светится луна
В сумраке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
«Что, подруженька, с тобой?
Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе колечко.
Пой, красавица: «Кузнец,
Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом налое».
«Как могу, подружки, петь?

---

[5] Написано в качестве свадебного подарка «Светлана» посвящена племяннице Жуковского Александре Андреевне Протасовой, в замужестве Воейковой, сестре М.А. Протасовой-Мойер (прозвище «Светлана» осталось за А.А. Воейковой). Баллада представляет собой наиболее удачный вариант переработки «Леноры» Бюргера. Стремление Жуковского воплотить в поэзии национально-русскую тему, поиски народности именно в «Светлане» увенчались наибольшим успехом. По сравнению с «Людмилой» в «Светлане» стих более гибок (чередование четырехстопного хорея с трехстопным; у Бюргера — четырехстопный ямб). Как и «Людмила», «Светлана» была восторженно принята современниками. Наряду с появившимися ранее повестями Н. М. Карамзина, «Светлана» способствовала расширению читательской аудитории, проникновению новой литературы в сознание более широких, чем это было прежде, общественных кругов. «Светлану» не раз упоминал в своем творчестве Пушкин.

Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит...
Иль не вспомнишь обо мне?
Где, в какой ты стороне?
Где твоя обитель?
Я молюсь и слезы лью!
Утоли печаль мою,
Ангел-утешитель».

Вот в светлице стол накрыт
Белой пеленою;
И на том столе стоит
Зеркало с свечою;
Два прибора на столе.
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой:
Стукнет в двери милый твой
Легкою рукою;
Упадет с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;
К зеркалу садится;
С тайной робостью она
В зеркало глядится;
Тёмно в зеркале; кругом
Мертвое молчанье;
Свечка трепетным огнем
Чуть лиет сиянье...
Робость в ней волнует грудь,
Страшно ей назад взглянуть,
Страх туманит очи...
С треском пыхнул огонек,
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи.

Подпершися локотком,
Чуть Светлана дышит...
Вот... легохонько замком
Кто-то стукнул, слышит;
Робко в зеркало глядит:
За ее плечами
Кто-то, чудилось, блестит
Яркими глазами...
Занялся от страха дух...
Вдруг в ее влетает слух
Тихий, легкий шепот:
«Я с тобой, моя краса;
Укротились небеса;
Твой услышан ропот!»

Оглянулась... милый к ней
Простирает руки.
«Радость, свет моих очей,
Нет для нас разлуки.
Едем! Поп уж в церкви ждет
С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
Храм блестит свечами».
Был в ответ умильный взор;
Идут на широкий двор,
В ворота тесовы;
У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут
Повода шелковы.

Сели... кони с места враз;
Пышут дым ноздрями;
От копыт их поднялась
Вьюга над санями.
Скачут... пусто все вокруг,
Степь в очах Светланы:
На луне туманный круг;
Чуть блестят поляны.
Сердце вещее дрожит;
Робко дева говорит:
«Что ты смолкнул, милый?»
Ни полслова ей в ответ:
Он глядит на лунный свет,
Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм;
Топчут снег глубокий...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокий;
Двери вихорь отворил;
Тьма людей во храме;
Яркий свет паникадил
Тускнет в фимиаме;
На средине черный гроб;
И гласит протяжно поп:
«Буди взят могилой!»
Пуще девица дрожит;
Кони мимо; друг молчит,
Бледен и унылый.

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Ворон каркает: *печаль*!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Подымая гривы;
Брезжит в поле огонек;
Виден мирный уголок,
Хижинка под снегом.
Кони борзые быстрей,
Снег взрывая, прямо к ней
Мчатся дружным бегом.

Вот примчалися... и вмиг
Из очей пропали:
Кони, сани и жених
Будто не бывали.
Одинокая, впотьмах,
Брошена от друга,
В страшных девица местах;
Вкруг метель и вьюга.
Возвратиться — следу нет...
Виден ей в избушке свет:
Вот перекрестилась;
В дверь с молитвою стучит...
Дверь шатнулася... скрыпит...
Тихо растворилась.

Что ж?.. В избушке гроб; накрыт
Белою запоной;
Спасов лик в ногах стоит;
Свечка пред иконой...
Ах! Светлана, что с тобой?
В чью зашла обитель?
Страшен хижины пустой
Безответный житель.
Входит с трепетом, в слезах;
Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась;
И с крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.

Все утихло... вьюги нет...
Слабо свечка тлится,
То прольет дрожащий свет,
То опять затмится...
Все в глубоком, мертвом сне,
Страшное молчанье...
Чу, Светлана!.. в тишине
Легкое журчанье...
Вот глядит: к ней в уголок
Белоснежный голубок
С светлыми глазами,
Тихо вея, прилетел,
К ней на перси тихо сел,
Обнял их крылами.

Смолкло все опять кругом...
Вот Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мертвый шевелится...
Сорвался покров; мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворёны очи.
Вдруг... в устах сомкнутых стон;
Силится раздвинуть он
Руки охладелы...
Что же девица?.. Дрожит...
Гибель близко... но не спит
Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул
Легкие он крилы;
К мертвецу на грудь вспорхнул...
Всей лишенный силы,
Простонав, заскрежетал
Страшно он зубами
И на деву засверкал
Грозными очами...
Снова бледность на устах;
В закатившихся глазах
Смерть изобразилась...
Глядь, Светлана... о творец!
Милый друг ее — мертвец!
Ах!... и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала, одна
Посреди светлицы;
В тонкий занавес окна
Светит луч денницы;
Шумным бьет крылом петух,
День встречая пеньем;
Все блестит... Светланин дух
Смутен сновиденьем.
«Ах! ужасный, грозный сон!
Не добро вещает он —
Горькую судьбину;
Тайный мрак грядущих дней,
Что сулишь душе моей,
Радость иль кручину?»

Села (тяжко ноет грудь)
Под окном Светлана;
Из окна широкий путь
Виден сквозь тумана;
Снег на солнышке блестит,
Пар алеет тонкий...
Чу!.. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий;
На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
Санки кони рьяны;
Ближе; вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идет...
Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; все тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,
Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
Милы разговоры.
Отворяйся ж, божий храм;
Вы летите к небесам,
Верные обеты;
Соберитесь, стар и млад;
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте: многи леты!

Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.
Взором счастливый твоим,
Не хочу и славы;
Слава — нас учили — дым;
Свет — судья лукавый.
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».

О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана...
Будь, создатель, ей покров!
Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;
В ней душа как ясный день;
Ах! да пронесется
Мимо — Бедствия рука;
Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.

1808—1812 гг.

Александр Сергеевич Грибоедов. Комедия «Горе от ума»

Комедия в четырех действиях, в стихах

Действующие лица:

Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте.
Софья Павловна, его дочь.
Лизанька, служанка.
Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме.
Александр Андреевич Чацкий.
Полковник Скалозуб, *Сергей Сергеевич*.
Наталья Дмитриевна, молодая дама | *Горичи*
Платон Михайлович, муж ее |
Князь Тугоуховский и *Княгиня*, жена его, с шестью дочерями.
Графиня бабушка | *Хрюмины*
Графиня внучка |
Антон Антонович Загорецкий.
Старуха Хлёстова, свояченица Фамусова.
г. N[1].
г. D.
Репетилов.
Петрушка и несколько говорящих *слуг*.
Множество *гостей* всякого разбора и их *лакеев* при разъезде.
Официанты Фамусова.

Действие в Москве, в доме Фамусова.

Действие первое

Явление 1

Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, откудова слышно фортопияно с флейтою, которые потом умолкают. Лизанька среди комнаты спит, свесившись с кресел. Утро, чуть день брезжится.

Лизанька *(вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается)*

Светает!.. Ах! как скоро ночь минула!
Вчера просилась спать — отказ.
«Ждем друга». — Нужен глаз да глаз,
Не спи, покудова не скатишься со стула.
Теперь вот только что вздремнула,
Уж день!.. сказать им...
(Стучится к Софии.)

---

[1] В прежних изданиях эти инициалы печатались французскими литерами, и получалось впечатление, что в III д. (явл. 14 и 15) говорят два француза, тогда как они ведут себя как исконные москвичи. Между тем, инициал N в старину часто употреблялся в русской графике взамен русского Н. Инициал Д одинаков в русской и французской рукописной графике. Показательно, что в единственной прижизненной публикации «Русской Талии» эти инициалы печатались по-русски.

Господа,
Эй! Софья Павловна, беда.
Зашла беседа ваша за́ ночь.
Вы глухи? — Алексей Степаныч!
Сударыня!... — И страх их не берет!
(Отходит от дверей.)
Ну, гость неприглашенный,
Быть может, батюшка войдет!
Прошу служить у барышни влюбленной!
(Опять к дверям.)
Да расходитесь. Утро. — Что-с?

Голос Софии
Который час?

Лизанька
Все в доме поднялось.

София (из своей комнаты)
Который час?

Лизанька
Седьмой, осьмой, девятый.

София (оттуда же)
Неправда.

Лизанька (прочь от дверей)
Ах! амур проклятый!
И слышат, не хотят понять,
Ну что бы ставни им отнять?
Переведу часы, хоть знаю: будет гонка,
Заставлю их играть.
(Лезет на стул, передвигает стрелку, часы бьют и играют.)

Явление 2

Лиза и Фамусов

Лиза
Ах! барин!

Фамусов
Барин,
да.
(Останавливает часовую музыку.)

Ведь экая шалунья ты девчонка.
Не мог придумать я, что это за беда!
То флейта слышится, то будто
фортопьяно;
Для Софьи слишком было б рано?..

Лиза
Нет, сударь, я... лишь невзначай...

Фамусов
Вот то-то невзначай, за вами примечай;
Так верно с умыслом.
(Жмется к ней и заигрывает)
Ох! зелье, баловница.

Лиза
Вы баловник, к лицу ль вам эти лица!

Фамусов
Скромна, а ничего кроме
Проказ и ветру на уме.

Лиза
Пустите, ветренники сами,
Опомнитесь, вы старики...

Фамусов
Почти.

Лиза
Ну кто придет, куда мы с вами?

Фамусов
Кому сюда прийти?
Ведь Софья спит?

Лиза
Сейчас започивала.

Фамусов
Сейчас! А ночь?

Лиза
Ночь целую читала.

Фамусов
Вишь, прихоти какие завелись!

Лиза
Все по-французски, вслух, читает
запершись.

Фамусов
Скажи-ка, что глаза ей портить не годится,
И в чтеньи прок-та не велик:
Ей сна нет от французских книг,
А мне от русских больно спится.

Лиза
Что встанет, доложусь,
Извольте же идти; разбудите, боюсь.

Фамусов
Чего будить? Сама часы заводишь,
На весь квартал симфонию гремишь.

Лиза
(как можно громче)
Да полноте-с!

Фамусов
(зажимает ей рот)
Помилуй, как кричишь,
С ума ты сходишь?

Лиза
Боюсь, чтобы не вышло из того...

Фамусов
Чего?

Лиза
Пора, судáрь, вам знать, вы не ребенок;
У девушек сон утренний так тонок;
Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь:
Всё слышат...

Фамусов
Все ты лжешь.

Голос Софии
Эй, Лиза!

Фамусов *(торопливо)*
Тс!
(Крадется вон из комнаты на цыпочках.)

Лиза *(одна)*
Ушел!.. Ах! от господ
подалей;
У них беды себе на всякий час готовь,
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.

Явление 3

Лиза, София со свечкою, за ней Молчалин.
София
Что, Лиза, на тебя напало?
Шумишь...

Лиза
Конечно вам расстаться тяжело?
До света запершись, и кажется все мало?

София
Ах, в самом деле рассвело!
(Тушит свечу.)
И свет и грусть. Как быстры ночи!

Лиза
Тужите, знай, со стороны нет мочи,
Сюда ваш батюшка зашел, я обмерла;
Вертелась перед ним, не помню что врала;
Ну что же стали вы? поклон, сударь, отвесьте.
Подите, сердце не на месте;
Смотрите на часы, взгляните-ка в окно:
Валит народ по улицам давно;
А в доме стук, ходьба, метут и убирают.

София
Счастливые часов не наблюдают.

Лиза
Не наблюдайте, ваша власть;
А что в ответ за вас, конечно, мне попасть.

София
(Молчалину)
Идите; целый день еще потерпим скуку.

Лиза
Бог с вами-с; прочь возьмите руку.
(Разводит их, Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым.)

Явление 4

София, Лиза, Молчалин, Фамусов.

Фамусов
Что за оказия! Молчалин, ты, брат?

Молчалин
Я-с.

Фамусов
Зачем же здесь? и в этот час?
И Софья!.. Здравствуй, Софья, что ты
Так рано поднялась! а? для какой заботы?
И как вас бог не в пору вместе свел?

София
Он только что теперь вошел.

Молчалин
Сейчас с прогулки.

Фамусов
Друг, нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок?
А ты, сударыня, чуть из постели прыг,
С мужчиной! с молодым! — Занятье для девицы!
Всю ночь читает небылицы,
И вот плоды от этих книг!

А все Кузнецкий мост, и вечные французы[2],
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок![3]

София

Позвольте, батюшка, кружится голова;
Я от испуга дух перевожу едва;
Изволили вбежать вы так проворно,
Смешалась я.

Фамусов

Благодарю покорно,
Я скоро к ним вбежал!
Я помешал! я испужал!
Я, Софья Павловна, расстроен сам, день целый
Нет отдыха, мечусь как словно угорелый.
По должности, по службе хлопотня,
Тот пристает, другой, всем дело до меня!
Но ждал ли новых я хлопот? чтоб был обманут...

София

(сквозь слезы)

Кем, батюшка?

Фамусов

Вот попрекать мне станут,
Что без толку всегда журю,
Не плачь, я дело говорю:
Уж об твоем ли не радели
Об воспитаньи! с колыбели!
Мать умерла: умел я принанять
В мадам Розье вторую мать.
Старушку-золото в надзор к тебе приставил:
Умна была, нрав тихий, редких правил.
Одно не к чести служит ей:

---

[2] Кузнецкий Мост был одной из главных торговых улиц Москвы со многими французскими магазинами.

[3] На Кузнецком Мосту были книжные магазины, торговавшие иностранными, главным образом французскими, книгами и принадлежавшие французам. Бисквитные лавки — кондитерские.

За лишних в год пятьсот рублей
Сманить себя другими допустила.
Да не в мадаме сила.
Не надобно иного образца,
Когда в глазах пример отца.
Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем;
Однако бодр и свеж, и дожил до седин,
Свободен, вдов, себе я господин...
Монашеским известен поведеньем!..

Лиза
Осмелюсь я, судáрь...

Фамусов
Молчать!
Ужасный век! Не знаешь, что начать!
Все умудрились не по лéтам,
А пуще дочери, да сами добряки,
Дались нам эти языки!
Берем же побродяг, и в дом и по билетам,[4]
Чтоб наших дочерей всему учить, всему —
И танцам! и пенью́! и нежностям! и вздохам!
Как будто в жены их готовим скоморохам.[5]
Ты, посетитель, что? ты здесь, сударь, к чему?
Безродного пригрел и ввел в мое семейство,
Дал чин асессора и взял в секретари;[6]
В Москву переведен через мое содейство;
И будь не я, коптел бы ты в Твери.

София
Я гнева вашего никак не растолкую.
Он в доме здесь живет, великая напасть!
Шел в комнату, попал в другую.

---

[4] В дворянских семьях, кроме постоянных домашних учителей, бывали еще учителя приходящие; после каждого урока они получали «билеты» — квитанции, по которым потом начислялась плата.

[5] В древней Руси скоморохами назывались профессиональные, придворные и бродячие музыканты, певцы и плясуны; скоморохи бывали у богатых бар и в XVIII в., потом слово «скоморох» употреблялось как синоним актера (с пренебрежительным оттенком).

[6] Коллежский асессор — чин VIII класса, равный капитану в армии. Переход из IX класса в VIII, особенно для недворян, считался наиболее трудным. До 1845 г. с этим чином было связано получение потомственного дворянства.

Фамусов

Попал или хотел попасть?
Да вместе вы зачем?
Нельзя, чтобы случайно.

София

Вот в чем, однако, случай весь:
Как давиче вы с Лизой были здесь,
Перепугал меня ваш голос чрезвычайно,
И бросилась сюда я со всех ног...

Фамусов

Пожалуй, на меня всю суматоху сложит.
Не в пору голос мой наделал им тревог!

София

По смутном сне безделица тревожит;
Сказать вам сон: поймете вы тогда.

Фамусов

Что за история?

София

Вам рассказать?

Фамусов

Ну да.
(Садится.)

София

Позвольте... видите ль... сначала
Цветистый луг; и я искала
Траву
Какую-то, не вспомню наяву.
Вдруг милый человек, один из тех, кого мы
Увидим — будто век знакомы,
Явился тут со мной; и вкрадчив, и умен,
Но робок... знаете, кто в бедности рожден...

Фамусов

Ах, матушка, не довершай удара!
Кто беден, тот тебе не пара!

София
Потом пропало все: луга и небеса. —
Мы в темной комнате. Для довершенья чуда
Раскрылся пол — и вы оттуда
Бледны, как смерть, и дыбом волоса!
Тут с громом распахнулись двери
Какие-то не люди и не звери
Нас врознь — и мучили сидевшего со мной.
Он будто мне дороже всех сокровищ,
Хочу к нему — вы тащите с собой:
Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ!
Он вслед кричит!.. —
Проснулась. — Кто-то говорит:
Ваш голос был; что, думаю, так рано?
Бегу сюда — и вас обоих нахожу.

Фамусов
Да, дурен сон; как погляжу,
Тут всё есть, коли нет обмана:
И черти и любовь, и страхи и цветы.
Ну, сударь мой, а ты?

Молчалин
Я слышал голос ваш.

Фамусов
Забавно.
Дался им голос мой, и как себе исправно
Всем слышится, и всех сзывает до зари!
На голос мой спешил, за чем же? — говори.

Молчалин
С бумагами-с.

Фамусов
Да! их недоставало.
Помилуйте, что это вдруг припало
Усердье к письменным делам!
(Встает.)
Ну, Сонюшка, тебе покой я дам:
Бывают странны сны, а наяву страннее;
Искала ты себе травы,

На друга набрела скорее;
Повыкинь вздор из головы;
Где чудеса, там мало складу. —
Поди-ка, ляг, усни опять.
(Молчалину)
Идем бумаги разбирать.

Молчалин
Я только нес их для докладу,
Что в ход нельзя пустить без справок, без иных,
Противуречья есть, и многое не дельно.

Фамусов
Боюсь, судáрь, я одного смертельно,
Чтоб множество не накоплялось их;
Дай волю вам, оно бы и засело;
А у меня, что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой.
(Уходит с Молчалиным, в дверях пропускает его вперед.)

Явление 5

София, Лиза.

Лиза
Ну вот у праздника! ну вот вам и потеха!
Однако нет, теперь уж не до смеха;
В глазах темно, и замерла душа;
Грех не беда, молва не хороша.

София
Что мне молва?
Кто хочет, так и судит,
Да батюшка задуматься принудит:
Брюзглив, неугомонен, скор,
Таков всегда, а с этих пор...
Ты можешь посудить...

Лиза
Сужу-с не по рассказам;
Запрет он вас; — добро еще со мной;
А то, помилуй бог, как разом
Меня, Молчалина и всех с двора долой.

София
Подумаешь, как счастье своенравно!
Бывает хуже, с рук сойдет;
Когда ж печальное ничто на ум нейдет;
Забылись музыкой, и время шло так плавно;
Судьба нас будто берегла;
Ни беспокойства, ни сомненья...
А горе ждет из-за угла.

Лиза
Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья
Не жалуете никогда:
Ан вот беда.
На что вам лучшего пророка?
Твердила я: в любви не будет в этой прока
Ни во́ веки веков.
Как все московские, ваш батюшка таков:
Желал бы зятя он с звездами, да с чинами,
А при звездах не все богаты, между нами;
Ну, разумеется, к тому б
И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он ба́лы;
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы.

София
Куда как мил! и весело мне страх
Выслушивать о фрунте и рядах;
Он слова умного не выговорил сроду, —
Мне все равно, что за него, что в воду.

Лиза
Да-с, так сказать, речист, а больно не хитер;
Но будь военный, будь он статский,
Кто так чувствителен, и весел, и остер,
Как Александр Андреич Чацкий!
Не для того, чтоб вас смутить;
Давно прошло, не воротить.
А помнится...

София
Что помнится? Он славно
Пересмеять умеет всех;
Болтает, шутит, мне забавно;
Делить со всяким можно смех.

Лиза

И только? будто бы? — Слезами обливался,
Я помню, бедный он, как с вами расставался.
— Что, сударь, плачете? живите-ка смеясь. —
А он в ответ: «Недаром, Лиза, плачу,
Кому известно, что́ найду я воротясь?
И сколько, может быть, утрачу!»
Бедняжка будто знал, что года через три...

София

Послушай, вольности ты лишней не бери.
Я очень ветрено, быть может, поступила,
И знаю, и винюсь; но где же изменила?
Кому? чтоб укорять неверностью могли.
Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли;
Привычка вместе быть день каждый неразлучно
Связала детскою нас дружбой; но потом
Он съехал, уж у нас ему казалось скучно,
И редко посещал наш дом;
Потом опять прикинулся влюбленным,
Взыскательным и огорченным!!.
Остер, умен, красноречив,
В друзьях особенно счастлив.
Вот об себе задумал он высоко...
Охота странствовать напала на него,
Ах! если любит кто кого,
Зачем ума искать, и ездить так далёко?

Лиза

Где носится? в каких краях?
Лечился, говорят, на кислых он водах,
Не от болезни, чай, от скуки, — повольнее.

София

И, верно, счастлив там, где люди посмешнее.
Кого люблю я, не таков:
Молчалин за других себя забыть готов,
Враг дерзости, — всегда застенчиво, несмело
Ночь целую с кем можно так провесть!
Сидим, а на дворе давно уж побелело,
Как думаешь? чем заняты?

Лиза

Бог весть!
Сударыня, мое ли это дело?

София

Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. —
Смеешься! можно ли! чем повод подала
Тебе я к хохоту такому!

Лиза

Мне-с ваша тетушка на ум теперь пришла,
Как молодой француз сбежал у ней из дому.
Голубушка! хотела схоронить
Свою досаду, не сумела:
Забыла волосы чернить,
И через три дни поседела.
(Продолжает хохотать.)

София

(с огорчением)

Вот так же обо мне потом заговорят. —

Лиза

Простите, право, как бог свят,
Хотела я, чтоб этот смех дурацкий
Вас несколько развеселить помог.

Явление 6

София, Лиза, слуга, за ним Чацкий.

Слуга

К вам Александр Андреич Чацкий.
(Уходит.)

Явление 7

София, Лиза, Чацкий.

Чацкий

Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног.
(С жаром целует руку.)
Ну поцелуйте же, не ждали? говорите!
Что ж, ради? Нет? В лицо мне посмотрите.

Удивлены? и только? вот прием!
Как будто не прошло недели;
Как будто бы вчера вдвоем
Мы мочи нет друг другу надоели;
Ни на́ волос любви! куда как хороши!
И между тем, не вспомнюсь, без души,
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше семисот пронесся, ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз —
И вот за подвиги награда!

София
Ах! Чацкий, я вам очень рада.

Чацкий
Вы рады? в добрый час.
Однако искренно кто ж радуется эдак?
Мне кажется, так напоследок
Людей и лошадей знобя,
Я только тешил сам себя.

Лиза
Вот, сударь, если бы вы были за дверями,
Ей-богу, нет пяти минут,
Как поминали вас мы тут.
Сударыня, скажите сами. —

София
Всегда, не только что теперь. —
Не можете мне сделать вы упрека.
Кто промелькнет, отворит дверь,
Проездом, случаем, из чужа, из далека —
С вопросом я, хоть будь моряк:
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?

Чацкий
Положимте, что так.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! —
Ах! Боже мой! ужли я здесь опять,
В Москве! у вас! да как же вас узнать!
Где время то? где возраст тот невинный,
Когда, бывало, в вечер длинный

Мы с вами явимся, исчезнем тут и там,
Играем и шумим по стульям и столам.
А тут ваш батюшка с мадамой, за пикетом;[7]
Мы в темном уголке, и кажется, что в этом!
Вы помните? вздрогнем, что скрипнет столик, дверь...

София
Ребячество!

Чацкий
Да-с, а теперь,
В седьмнадцать лет вы расцвели прелестно,
Неподражаемо, и это вам известно,
И потому скромны, не смотрите на свет.
Не влюблены ли вы? прошу мне дать ответ,
Без думы, полноте смущаться.

София
Да хоть кого смутят
Вопросы быстрые и любопытный взгляд...

Чацкий
Помилуйте, — не вам, чему же удивляться?
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах.
Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.[8]

София
Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше?

Чацкий
Где нас нет.
Ну что ваш батюшка? все Английского клоба[9]

---

[7] С гувернанткой Софьи за карточной игрой.

[8] В 20-х годах XIX в., при редкости и дороговизне книги, в большом ходу были рукописные альбомы, куда выписывались понравившиеся стихотворения. В альбомы писали, по просьбе владельцев, и выдающиеся поэты — Пушкин, Лермонтов и др. (См. характеристику таких альбомов в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина, гл. IV, XXVII—XXXI.)

[9] Английский клуб был самым аристократическим клубом Москвы, в члены которого выбирались только представители родового и богатого барства. До пожара 1812 г. клуб помещался в доме кн. Гагариных у Петровских

Старинный, верный член до гроба?
Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?
А этот, как его, он турок или грек?[10]
Тот черномазенький, на ножках журавлиных,
Не знаю как его зовут,
Куда ни сунься: тут, как тут.
В столовых и в гостиных?
А трое из бульварных лиц,[11]
Которые с полвека молодятся?
Родных мильон у них, и с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся.
А наше солнышко? наш клад?
На лбу написано: Театр и Маскерад;
Дом зеленью раскрашен в виде рощи,[12]
Сам толст, его артисты тощи.
На бале, помните, открыли мы вдвоем
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щелкал соловьем,[13]
Певец зимой погоды летней.[14]

ворот (ныне — клиническая больница); в 1813 г. — на Петровке, но вскоре был переведен в дом Н. Н. Муравьева на Б. Дмитровке; с 1831 г. — в доме гр. Разумовской на Тверской (ныне Музей Революции).

[10] И. Д. Гарусов (изд. 1875, стр. 168), ссылаясь на П. А. Вяземского, усматривал здесь намек на Сибилева. У Вяземского читаем: «Был еще оригинал, повсеместный, всюду являющийся, везде встречаемый... Он был вхож в лучшие дома. Дамский угодник, он находился в свите то одной, то другой московской красавицы. Откуда был он? Какое было предыдущее его? Какие родственные связи? Никто не знал, да никто и не любопытствовал знать. Знали только, что он дворянин Сибилев, и довольно. Аристократическая, но преимущественно гостеприимная Москва не наводила генеалогических справок, когда дело шло о том, чтобы за обедом иметь готовый прибор для того или для другого. Сибилев имел в Москве, вероятно двадцать или тридцать таких ежедневно готовых для него приборов... У него были кошачьи ухватки. Он часто лицо свое словно облизывал носовыми платками, которых носил в кармане по три и по четыре» (Русский архив, 1872, № 2, стлб. 486–488).

М. О. Гершензон (Грибоедовская Москва. С. 100— 102) прототипом «турка или грека» считает грека Метаксу, действительно, более близкого к грибоедовскому образу, чем русский дворянин Сибилев.

[11] Из постоянных посетителей бульваров. Во времена Грибоедова бульвары были в Москве излюбленным местом гулянья — не только для простонародья, но и для бар. Тверской и Пречистенский бульвары играли в Москве роль петербургского Невского проспекта.

[12] В грибоедовское время был обычай расписывать стены комнат цветами, деревьями; такие комнаты назывались боскетными.

[13] Сохранились воспоминания, что у одного московского барина крепостной человек мастерски подражал щелканью соловья.

[14] В грибоедовское время в Москве было несколько крепостных театров. В монологе Чацкого речь шла, по-видимому, об известном московском театрале П. А. Познякове, в театре которого французы давали спектакли, когда заняли Москву в 1812 г. Об этом упоминает сам Грибоедов в плане драмы «1812 год» (см.: *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч. СПб., 1911. Т. I. С. 263, 302). П. А. Вяземский писал о Познякове: «Он приехал в первопрестольную столицу потешать ее своими рублями и крепостным театром. Он купил дом на Никитской (ныне принадлежащий князю Юсупову), устроил в нем зимний сад, театральную залу с ложами и зажил что называется домом и барином: пошли обеды, балы, спектакли, маскарады. Спектакли были очень недурны, потому что в доморощенной труппе находились актеры и певцы не без дарований. <...> Нечего и говорить, что на балах его, спектаклях и маскарадах не было недостатка в посетителях: вся Москва так и рвалась и называлась на приглашения его.

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет который поселился[15]
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?
Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж пространствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен![16]

София
Вот вас бы с тетушкою свесть,
Чтоб всех знакомых перечесть.

Чацкий
А тетушка? все девушкой, Минервой?
Все фрейлиной Екатерины Первой?[17]
Воспитанниц и мосек полон дом?
Ах! к воспитанью перейдем.
Что нынче, так же, как издревле,
Хлопочут набирать учителей полки,
Числом поболее, ценою подешевле?

Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?

<...> Позняков самодовольно угощал Москву в своих покоях и важно на маскарадах своих расхаживал наряженный не то персиянином, не то китайцем. Нет сомнения, что о нем говорится в "Горе от ума":

На лбу написано: театр и маскарад.

Не забыл Грибоедов и бородача, который во время бала, в тени померанцевых деревьев "щелкал соловьем":

Певец зимой погоды летней».

(Русский архив, 1873, № 10, стлб. 1983–1984; перепечатано в полном собр. сочинений П. А. Вяземского, т. VIII. СПб., 1883. С. 160–162). Другим прототипом грибоедовского театрала называли помещика Ржевского, продавшего свою балетную труппу дирекции императорских театров. «Он на эти фарсы пробухал 4000 душ»,— писал о нем А. Я. Булгаков (Русский архив, 1901, № 5. С. 27–28, 31).

[15] Ученый комитет был учрежден в 1817 г. при Министерстве духовных дел и народного просвещения. Он рассматривал учебники и пособия для школ всякого рода, а также проекты по учебной части, и проводил в делах просвещения реакционную политику. Тогдашняя литература очень страдала от придирок Ученого комитета.

[16] *И дым Отечества нам сладок и приятен!* — Не вполне точная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798):

Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.—

в свою очередь восходящая к «Одиссее» Гомера и к латинской пословице «Et fumus patriae dulcis» («И дым отечества сладок»). Известен ряд случаев использования этого выражения писателями и журналами XVIII — начала XIX в. еще до Грибоедова (см.: *Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова, М., 1966. С. 264–266). Однако в широкое обращение этот образ вошел как цитата из «Горя от ума». На заимствованный характер стиха указал сам Грибоедов, выделив его курсивом.

[17] Минерва (Афина) — римская (греческая) дева-богиня мудрости; фрейлина — придворная дама или девица, состоявшая при императрице. Чацкий называет не Екатерину II, а Екатерину I, очень давно умершую, — иронически указывая тем самым на древний возраст «фрейлины».

Не то, чтобы в науке далеки;
В России, под великим штрафом,
Нам каждого признать велят
Историком и географом!
Наш ментор, помните колпак его, халат,
Перст указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожные умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья! [18]—
А Гильоме, француз, подбитый ветерком?
Он не женат еще?

София
На ком?

Чацкий
Хоть на какой-нибудь княгине
Пульхерии Андревне, например?

София
Танцмейстер! можно ли!

Чацкий
Что ж, он и кавалер.
От нас потребуют с именьем быть и в чине,
А Гильоме!.. — Здесь нынче тон каков
На съездах, на больших, по праздникам приходским?
Господствует еще смешенье языков:
Французского с нижегородским? —

София
Смесь языков?

Чацкий
Да, двух, без этого нельзя ж.

София
Но мудрено из них один скроить, как ваш.

[18] Ментор — в «Одиссее» Гомера — воспитатель сына Одиссея, Телемака; в нарицательном смысле — воспитатель, наставник. В охарактеризованном здесь менторе- немце биографы готовы видеть первого гувернера Грибоедова, Иоганна-Бернгарда Петрозилиуса, хотя характеристика слишком обща и может одинаково годиться для многих тогдашних немцев-воспитателей.

Чацкий

По крайней мере не надутый.
Вот новости! — я пользуюсь минутой,
Свиданьем с вами оживлен,
И говорлив; а разве нет времен,
Что я Молчалина глупее? Где он, кстати?
Еще ли не сломил безмолвия печати?
Бывало песенок где новеньких тетрадь
Увидит, пристает: пожалуйте списать.
А впрочем, он дойдет до степеней известных,
Ведь нынче любят *бессловесных*.

София

(в сторону)

Не человек, змея!

(Громко и принужденно)

Хочу у вас спросить:
Случалось ли, чтоб вы смеясь? или в печали?
Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?
Хоть не теперь, а в детстве может быть.

Чацкий

Когда все мягко так? и нежно, и незрело?
На что же так давно? вот доброе вам дело:
Звонками только что гремя
И день и ночь по снеговой пустыне,
Спешу к вам, голову сломя.
И как вас нахожу? в каком-то строгом чине!
Вот полчаса холодности терплю!
Лицо святейшей богомолки!..
И все-таки я вас без памяти люблю.

Минутное молчание.

Послушайте, ужли слова мои все колки?
И клонятся к чьему-нибудь вреду?
Но если так: ум с сердцем не в ладу.
Я в чудаках иному чуду
Раз посмеюсь, потом забуду;
Велите ж мне в огонь: пойду как на обед.

София

Да, хорошо сгорите, если ж нет?

Явление 8

София, Лиза, Чацкий, Фамусов.

Фамусов

Вот и другой.

София

Ах, батюшка, сон в руку.

(Уходит.)

Фамусов

(ей вслед вполголоса)

Проклятый сон.

Явление 9

Фамусов, Чацкий (смотрит на дверь, в которую София вышла).

Фамусов

Ну выкинул ты штуку!
Три года не писал двух слов!
И грянул вдруг как с облаков.

Обнимаются.

Здорово, друг, здорово, брат, здорово!
Рассказывай, чай у тебя готово
Собранье важное вестей?
Садись-ка, объяви скорей.

Садятся.

Чацкий

(рассеянно)

Как Софья Павловна у вас похорошела!

Фамусов

Вам, людям молодым, другого нету дела,
Как замечать девичьи красоты:
Сказала что-то вскользь, а ты,
Я чай, надеждами занесся, заколдован.

Чацкий

Ах! нет, надеждами я мало избалован.

Фамусов

«Сон в руку» — мне она изволила шепнуть,
Вот ты задумал...

Чацкий
Я? — Ничуть.

Фамусов
О ком ей снилось? что такое?

Чацкий
Я не отгадчик снов.

Фамусов
Не верь ей, все пустое.

Чацкий
Я верю собственным глазам;
Век не встречал, подписку дам,
Что б было ей хоть несколько подобно!

Фамусов
Он все свое. Да расскажи подробно,
Где был? Скитался столько лет!
Откудова теперь?

Чацкий
Теперь мне до того ли!
Хотел объехать, целый свет,
И не объехал сотой доли.
(Встает поспешно.)
Простите; я спешил скорее видеть вас,
Не заезжал домой. Прощайте! Через час
Явлюсь, подробности малейшей не забуду,
Вам первым, вы потом рассказывайте всюду.
(В дверях)
Как хороша!
(Уходит.)

Явление 10

Фамусов
(один)
Который же из двух?
«Ах! батюшка, сон в руку!»
И говорит мне это вслух!
Ну, виноват! Какого ж дал я крюку!

Молчалин давиче в сомненье ввел меня.
Теперь... да в полмя из огня:
Тот нищий, этот франт-приятель;
Отъявлен мотом, сорванцом;
Что за комиссия, Создатель,
Быть взрослой дочери отцом! —
(Уходит.)

Действие второе

Явление 1

Фамусов, Слуга.

Фамусов

Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем. Достань-ка календарь:
Читай не так, как пономарь;[19]
А с чувством, с толком, с расстановкой.
Постой же. — На листе черкни на записном,
Противу будущей недели:
К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели.
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй, ум вскружится;
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!
Отметь-ка, в тот же день... Нет, нет.
В четверг я зван на погребенье.
Ох, род людской! пришло в забвенье,
Что всякий сам туда же должен лезть,
В тот ларчик, где ни стать, ни сесть.
Но память по себе намерен кто оставить
Житьем похвальным, вот пример:
Покойник был почтенный камергер,
С ключом[20], и сыну ключ умел доставить;[21]
Богат, и на богатой был женат;
Переженил детей, внучат;
Скончался; все о нем прискорбно поминают.
Кузьма Петрович! Мир ему! —
Что за тузы в Москве живут и умирают! —
Пиши в четверг, одно уж к одному,
А может в пятницу, а может и в субботу,
Я должен у вдовы, у докторши, крестить.
Она не родила, но по расчету
По моему: должна родить. —

[19] Низший церковнослужитель, во время богослужения быстро читавший по книгам установленные молитвы.
[20] Камергеры (придворное звание) носили на парадных мундирах золотой ключ.
[21] Т. е. провел и сына в камергеры.

Явление 2

Фамусов, Слуга, Чацкий.

Фамусов

А! Александр Андреич, просим,
Садитесь-ко.

Чацкий

Вы заняты?

Фамусов (Слуге)

Поди.

Слуга уходит.

Да, разные дела на память в книгу вносим,
Забудется того гляди. —

Чацкий

Вы что-то не весёлы стали;
Скажите, отчего? Приезд не в пору мой?
Уж Софье Павловне какой
Не приключилось ли печали?
У вас в лице, в движеньях суета.

Фамусов

Ах! батюшка, нашел загадку,
Не весел я!.. В мои лета
Не можно же пускаться мне вприсядку!

Чацкий

Никто не приглашает вас;
Я только, что спросил два слова
Об Софье Павловне, быть может, нездорова?

Фамусов

Тьфу, господи прости! Пять тысяч раз
Твердит одно и то же!
То Софьи Павловны на свете нет пригоже,
То Софья Павловна больна, —
Скажи, тебе понравилась она?
Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?

Чацкий

А вам на что?

Фамусов
Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни;
По крайней мере искони
Отцом недаром называли.

Чацкий
Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?

Фамусов
Сказал бы я, во-первых: не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно,
А, главное, поди-тка послужи.

Чацкий
Служить бы рад, прислуживаться тошно.

Фамусов
Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы, на старших глядя:
Мы, например, или покойник дядя,
Максим Петрович:[22] он не то на серебре,
На золоте едал; сто человек к услугам;
Весь в орденах; езжал-то вечно цугом;
Век при дворе, да при каком дворе!
Тогда не то, что ныне,
При государыне служил Екатерине.
А в те поры все важны! в сорок пуд...
Раскланяйся — тупеем не кивнут.[23]
Вельможа в случае[24] — тем паче,
Не как другой, и пил и ел иначе.
А дядя! что твой князь? что граф?
Сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб:

[22] Прототипом Максима Петровича считали екатерининского вельможу Н. Н. Новосильцева, жившего на покое в Москве и поражавшего всех своим великолепием и роскошью. Однако круг лиц из числа «тузов», живших тогда в Москве, к которым подходила бы эта характеристика, был широким.
[23] Тупей (франц. toupet) — собранный на затылке пучок волос; старинная прическа.
[24] т.е. в милости, в «фаворе» у царя или царицы. Ср. у И. А. Крылова — название басни: «Слон в случае».

На куртаге[25] ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкий;
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,
Упал вдругóрядь — уж нарочно, —
А хохот пуще, он и в третий так же точно.
А? как по вашему? по нашему — смышлен.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен?
Кто слышит при дворе приветливое слово?
Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет?
Максим Петрович! Шутка!
В чины выводит кто и пенсии дает?
Максим Петрович! Да! Вы, нынешние, — ну-тка!

Чацкий

И точно начал свет глупеть,
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом;
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть как кружево плели.
Прямой был век покорности и страха,
Всё под личиною усердия к царю.
Я не об дядюшке об вашем говорю;
Его не возмутим мы праха:
Но между тем кого охота заберет,
Хоть в раболепстве самом пылком,
Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?
А сверстничек, а старичок
Иной, глядя на тот скачок,
И разрушаясь в ветхой коже,

[25] Старинное слово (из франц. cour — двор и немецк. Tag — день) — приемный день при дворе.

Чай приговаривал: ах! если бы мне тоже!
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит, и держит стыд в узде;
Недаром жалуют их скупо государи.

Фамусов
Ах! Боже мой! он карбонари![26]

Чацкий
Нет, нынче свет уж не таков.

Фамусов
Опасный человек!

Чацкий
Вольнее всякий дышит
И не торопится вписаться в полк шутов.

Фамусов
Что говорит! и говорит, как пишет!

Чацкий
У покровителей зевать на потолок,
Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,
Подставить стул, поднять платок.

Фамусов
Он вольность хочет проповедать!

Чацкий
Кто путешествует, в деревне кто живет...

Фамусов
Да он властей не признает!

Чацкий
Кто служит делу, а не лицам...

[26] Карбонарии («угольщики») — члены революционной политической организации в Италии. Движение карбонариев, начавшееся в 1817 г., в 1820–1821 гг. приняло характер революции в Неаполе, Пьемонте и Папской области. В России декабристы горячо сочувствовали карбонариям и имели с ними некоторые связи (см. *Ковальская М. И.* Итальянские карбонарии и передовая Россия // Вопросы истории, 1967, № 8, с. 78–90). Для читателей 1823–1824 гг. восклицание Фамусова о карбонарстве Чацкого имело всю остроту злобы дня.

Фамусов
Строжайше б запретил я этим господам
На выстрел подъезжать к столицам.

Чацкий
Я наконец вам отдых дам...

Фамусов
Терпенья, мочи нет, досадно.

Чацкий
Ваш век бранил я беспощадно,
Предоставляю вам во власть:
Откиньте часть,
Хоть нашим временам в придачу;
Уж так и быть, я не поплачу.

Фамусов
И знать вас не хочу, разврата не терплю.

Чацкий
Я досказал.

Фамусов
Добро заткнул я уши.

Чацкий
На что ж? я их не оскорблю. —

Фамусов
(*скороговоркой*)
Вот рыскают по свету, бьют баклуши,
Воротятся, от них порядка жди.

Чацкий
Я перестал...

Фамусов
Пожалуй, пощади.

Чацкий
Длить споры не мое желанье...

Фамусов
Хоть душу отпусти на покаянье!

Явление 3

Слуга

(входит)

Полковник Скалозуб.

Фамусов

(ничего не видит и не слышит.)

Тебя уж упекут.
Под суд, как пить дадут.

Чацкий

Пожаловал к вам кто-то на́ дом.

Фамусов

Не слушаю, под суд!

Чацкий

К вам человек с докладом.

Фамусов

Не слушаю, под суд! под суд!

Чацкий

Да обернитесь, вас зовут.

Фамусов

(оборачивается)

А? бунт? ну так и жду содома.

Слуга

Полковник Скалозуб. Прикажете принять?

Фамусов

(встает)

Ослы! сто раз вам повторять?
Принять его, позвать, просить, сказать, что дома,
Что очень рад. Пошел же, торопись.

Слуга уходит.

Пожало-ста, судáрь, при нем остерегись:
Известный человек, солидный,
И знаков тьму отличья нахватал;
Не по летам и чин завидный,
Не нынче завтра генерал.

Пожало-ста при нем веди себя скромненько.
Эх! Александр Андреич, дурно, брат!
Ко мне он жалует частенько;
Я всякому, ты знаешь, рад;
В Москве прибавят вечно втрое;
Вот будто женится на Сонюшке. Пустое!
Он, может быть, и рад бы был душой,
Да надобности сам не вижу я большой
Дочь выдавать ни завтра, ни сегодня;
Ведь Софья молода. А впрочем, власть господня.
Пожало-ста при нем не спорь ты вкривь и вкось,
И завиральные идеи эти брось.
Однако нет его! какую бы причину...
А! знать ко мне пошел в другую половину.
(Поспешно уходит.)

Явление 4

Чацкий

Как суетится! что за прыть!
А Софья? — Нет ли впрямь тут жениха какого?
С которых пор меня дичатся как чужого!
Как здесь бы ей не быть!!
Кто этот Скалозуб? отец им сильно бредит,
А может быть, не только, что отец...
Ах! тот скажи любви конец,
Кто на три года вдаль уедет.

Явление 5

Чацкий, Фамусов, Скалозуб.

Фамусов

Сергей Сергеич, к нам сюда-с.
Прошу покорно, здесь теплее;
Прозябли вы, согреем вас;
Отдушничек отвернем поскорее.

Скалозуб

(густым басом)

Зачем же лазить, например,
Самим!... Мне совестно, как честный офицер.

Фамусов

Неужто для друзей не делать мне ни шагу,

Сергей Сергеич дорогой!
Кладите шляпу, сденьте шпагу;
Вот вам софа, раскиньтесь на покой.

Скалозуб
Куда прикажете, лишь только бы усесться.
(Садятся все трое. Чацкий поодаль.)

Фамусов
Ах! батюшка, сказать, чтоб не забыть:
Позвольте нам своими счесться,
Хоть дальними, — наследства не делить;
Не знали вы, а я подавно,
Спасибо научил двоюродный ваш брат,
Как вам доводится Настасья Николавна?

Скалозуб
Не знаю-с, виноват;
Мы с нею вместе не служили.

Фамусов
Сергей Сергеич, это вы ли!
Нет! я перед родней, где встретится, ползком;
Сыщу ее на дне морском.
При мне служащие чужие очень редки;
Все больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..
Однако братец ваш мне друг и говорил,
Что вами выгод тьму по службе получил.

Скалозуб
В тринадцатом году мы отличались с братом
В тридцатом егерском, а после в сорок пятом.

Фамусов
Да, счастье у кого есть эдакий сынок;
Имеет, кажется, в петличке орденок?

Скалозуб
За третье августа; засели мы в траншею:[27]
Ему дан с бантом, мне на шею.[28]

Фамусов
Любезный человек, и посмотреть — так хват;
Прекрасный человек двоюродный ваш брат.

Скалозуб
Но крепко набрался каких-то новых правил.
Чин следовал ему: он службу вдруг оставил,
В деревне книги стал читать.[29]

Фамусов
Вот молодость!.. читать!.. а после — хвать!..
Вы повели себя исправно,
Давно полковники, а служите недавно.

Скалозуб
Довольно счастлив я в товарищах моих,
Вакансии как раз открыты:
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.

Фамусов
Да, чем кого господь поищет, вознесет!

Скалозуб
Бывает, моего счастливее везет
У нас в пятнадцатой дивизии, не дале,
Об нашем хоть сказать бригадном генерале.

---

[27] По сообщению М. В. Нечкиной *(Нечкина М. В.* Грибоедов и декабристы. М., 1951. С. 277— 278), 3 августа 1813 г. никаких боевых действий не было, так как до 14 августа действовало Плесвицкое перемирие, русские войска стояли в Богемии и офицерство в основном веселилось в Праге, где в этот день состоялось свидание Александра I с австрийским императором Францем II. «Подвиг» Скалозуба, таким образом, только в том и состоял, что они «засели в траншею».

[28] Царские ордена прикреплялись к ленте присвоенного данному ордену цвета. Низшие ордена (IV и III степени) носились в петлице и лента могла завязываться бантом; высшие (I и II степени) — на шее. Согласно любезному разъяснению В. М. Глинки (Государственный Эрмитаж), — «с бантом» — несомненно, орден Владимира 4-й стенени, а «на шею» — почти бесспорно Анны 2-й степени: Владимира 4-й Скалозуб уже, очевидно, имел — согласно старшинству орденов. Если бы ему дали Владимира 3-й степени, это нарушило бы принятую последовательность награждений.

[29] В образе двоюродного брата Скалозуба видели декабриста П. Д. Черевина, который рано оставил военную службу и поселился в деревне, намереваясь заняться улучшением благосостояния крестьян. П. Д. Черевин был автором исторических исследований и умер в возрасте 24 лет. Сочувственный некролог в «Вестнике Европы» (1824, № 14, с. 149—-152) посвятил ему декабрист С. Д. Нечаев.

Фамусов
Помилуйте, а вам чего недостает?

Скалозуб
Не жалуюсь, не обходили,
Однако за полком два года поводили.

Фамусов
В погонь ли за полком?
Зато, конечно, в чем другом
За вами далеко тянуться.

Скалозуб
Нет-с, ста́рее меня по корпусу найдутся,
Я с восемьсот девятого служу;
Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы;
Об них как истинный философ я сужу;
Мне только бы досталось в генералы.

Фамусов
И славно судите, дай бог здоровье вам
И генеральский чин; а там
Зачем откладывать бы дальше,
Речь завести об генеральше?

Скалозуб
Жениться? Я ничуть не прочь.

Фамусов
Что ж? у кого сестра, племянница есть, дочь;
В Москве ведь нет невестам перевода;
Чего? плодятся год от года;
А батюшка, признайтесь, что едва
Где сыщется столица, как Москва.

Скалозуб
Дистанции огромного размера.

Фамусов
Вкус, батюшка, отменная манера;
На все свои законы есть:
Вот, например, у нас уж исстари ведется,

Что по отцу и сыну честь;
Будь плохинький, да если наберется
Душ тысячки две родовых —Тот и жених.
Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством,
Пускай себе разумником слыви,
А в се́мью не включат. На нас не подиви.
Ведь только здесь еще и дорожат дворянством.
Да это ли одно? возьмите вы хлеб-соль:
Кто хочет к нам пожаловать, — изволь;
Дверь отперта для званных и незванных,
Особенно из иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет,
Для нас равнехонько, про всех готов обед.
Возьмите вы от головы до пяток,
На всех московских есть особый отпечаток.
Извольте посмотреть на нашу молодежь,
На юношей — сынков и вну́чат,
Журим мы их, а если разберешь, —
В пятнадцать лет учителей научат!
А наши старички?? — Как их возьмет задор,
Засудят об делах, что слово — приговор, —
Ведь столбовые всё, в ус никого не дуют;
И об правительстве иной раз так толкуют,
Что если б кто подслушал их... беда!
Не то, чтоб новизны вводили, — никогда,
Спаси нас боже! Нет. А придерутся
К тому, к сему, а чаще ни к чему,
Поспорят, пошумят, и... разойдутся.
Прямые канцлеры в отставке[30] — по уму!
Я вам скажу, знать время не приспело,
Но что без них не обойдется дело. —
А дамы? — сунься кто, попробуй, овладей;
Судьи́ всему, везде, над ними нет судей;
За картами когда восстанут общим бунтом,
Дай бог терпение, ведь сам я был женат.
Скомандовать велите перед фрунтом!
Присутствовать пошлите их в Сенат![31]

---

[30] Канцлер — высший гражданский чин. В Москве не у дел жило много вельмож, которые непрочь бывали разыгрывать «оппозицию» на словах в Английском клубе.

[31] В Москве тогда еще существовали «департаменты» высшего судебного учреждения — Сената, находившегося в Петербурге.

Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!
Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!
А дочек кто видал, всяк голову повесь,
Его величество король был прусский здесь;[32]
Дивился не путем московским он девицам,
Их благонравью, а не лицам,
И точно, можно ли воспитаннее быть!
Умеют же себя принарядить
Тафтицей, бархатцем и дымкой,
Словечка в простоте не скажут,
всё с ужимкой;
Французские романсы вам поют
И верхние выводят нотки,
К военным людям так и льнут,
А потому, что патриотки.
Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица как Москва.

Скалозуб
По моему сужденью,
Пожар способствовал ей много к украшенью.[33]

Фамусов
Не поминайте нам, уж мало ли крехтят:
С тех пор дороги, тротуары,
Дома и все на новый лад.

Чацкий
Дома новы́, но предрассудки стары.
Порадуйтесь, не истребят
Ни годы их, ни моды, ни пожары.

Фамусов
(Чацкому)
Эй, завяжи на память узелок;
Просил я помолчать, не велика услуга.
(Скалозубу)
Позвольте, батюшка. Вот-с — Чацкого, мне друга,

[32] Прусский король Фридрих-Вильгельм III, отец великой княгини Александры Федоровны, приезжал в Москву 4(16) июня 1818 г. и пробыл в столице 11 дней, бывая на балах, обедах и т.п.

[33] Пожар в 1812 г., при нашествии французов. После пожара Москва заново отстраивалась.

Андрея Ильича покойного сынок:
Не служит, то есть в том он пользы не находит,
Но захоти — так был бы деловой,
Жаль, очень жаль, он малый с головой;
И славно пишет, переводит.
Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом...

Чацкий
Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом?
И похвалы мне ваши досаждают.

Фамусов
Не я один, все также осуждают.

Чацкий
А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;[34]
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы[35]
Прошедшего житья подлейшие черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
Не тот ли, вы к кому меня еще с пелен,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитёй возили на поклон?

[34] Т. е., очень давно. Крепость Очаков на Днепровском лимане взята у турок в 1788 г. и присоединена к России. В 1783 г. состоялось присоединение к России Крыма. Действие же «Горя от ума» происходит около 1820 г.

[35] иностранцы, нашедшие себе покровительство у русских знатных бар. Среди них было еще значительное число французских эмигрантов, бежавших от революции 1789 г.

Тот Нестор негодяев знатных,[36]
Толпою окруженный слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг
На них он выменил борзые три собаки!!!
Или вон тот еще, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,[37]
Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке:
Амуры и Зефиры все
Распроданы по одиночке!!
Вот те, которые дожили до седин!
Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вот наши строгие ценители и судьи!
Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется — враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,
Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывет у них мечтателем! опасным!! —
Мундир! один мундир! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь счастливый!
И в женах, дочерях — к мундиру та же страсть!
Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!
Теперь уж в это мне ребячество не впасть;
Но кто б тогда за всеми не повлекся?
Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали, —
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!

---

[36] Нестор — герой «Илиады» Гомера, один из предводителей греков, осаждавших Трою, глубокий старик, отличавшийся своими мудрыми советами. В нарицательном смысле — советчик, руководитель.

[37] т. е. занят обучением крепостных актеров, изображающих в балете фантастические образы зефиров (ветерков) и амуров (божков любви). См. сноску 14.

Фамусов

(про себя)

Уж втянет он меня в беду.

(Громко.)

Сергей Сергеич, я пойду,
И буду ждать вас в кабинете.

(Уходит.)

Явление 6

Скалозуб, Чацкий.

Скалозуб

Мне нравится, при этой смете
Искусно как коснулись вы
Предубеждения Москвы
К любимцам, к гвардии, к гвардейским, к гвардионцам;[38]
Их золоту, шитью дивятся будто солнцам!
А в первой армии когда отстали? в чем?
Все так прилажено, и тальи все так узки,
И офицеров вам начтём,
Что даже говорят, иные, по-французски.

Явление 7

Скалозуб, Чацкий, София, Лиза.

София

(бежит к окну)

Ах! Боже мой! упал, убился!

(Теряет чувства.)

Чацкий

Кто?
Кто это?

Скалозуб

С кем беда?

Чацкий

Она мертва со страху!

Скалозуб

Да кто? откудова?

[38] к офицерам лейб-гвардейских полков, учрежденных в 1813 г. Гвардионцы получали преимущество одного чина перед армейскими офицерами.

Чацкий
Ушибся обо что?

Скалозуб
Уж не старик ли наш дал маху?

Лиза
(хлопочет около барышни)
Кому назначено-с: не миновать судьбы,
Молчалин на́ лошадь садился, ногу в стремя,
А лошадь на дыбы.
Он об землю и прямо в темя.

Скалозуб
Поводья затянул, ну, жалкий же ездок.
Взглянуть, как треснулся он — грудью или в бок?
(Уходит.)

Явление 8

Те же, без Скалозуба.

Чацкий
Помочь ей чем? Скажи скорее.

Лиза
Там в комнате вода стоит.
Чацкий бежит и приносит. Всё следующее — вполголоса, — до того, как София очнется.
Стакан налейте.

Чацкий
Уж налит.
Шнуровку отпусти вольнее,
Виски ей уксусом потри,
Опрыскивай водой. Смотри,
Свободнее дыханье стало.
Повеять чем?

Лиза
Вот опахало.

Чацкий
Гляди в окно,
Молчалин на ногах давно!
Безделица ее тревожит.

Лиза
Да-с, барышнин несчастен нрав.
Со стороны смотреть не может,
Как люди падают стремглав.

Чацкий
Опрыскивай еще водою.
Вот так. Еще. Еще.

София
(с глубоким вздохом)
Кто здесь со мною?
Я точно как во сне.
(Торопко и громко)
Где он? что с ним? Скажите мне.

Чацкий
Пускай себе сломил бы шею,
Вас чуть было не уморил.

София
Убийственны холодностью своею!
Смотреть на вас, вас слушать нету сил.

Чацкий
Прикажете мне за него терзаться?

София
Туда бежать, там быть, помочь ему стараться.

Чацкий
Чтоб оставались вы без помощи одне?

София
На что вы мне?
Да, правда, не свои беды́ — для вас забавы,
Отец родной убейся — все равно.
(Лизе.)
Пойдем туда, бежим.

Лиза

(отводит ее в сторону)

Опомнитесь! куда вы?
Он жив, здоров, смотрите здесь в окно.

София в окошко высовывается.

Чацкий

Смятенье! обморок! поспешность! гнев! испуга!
Так можно только ощущать,
Когда лишаешься единственного друга.

София

Сюда идут. Руки не может он поднять.

Чацкий

Желал бы с ним убиться...

Лиза

Для компаньи?[39]

София

Нет, оставайтесь при желаньи.

Явление 9

София, Лиза, Чацкий, Скалозуб, Молчалин (с подвязанною рукою).

Скалозуб

Воскрес и невредим, рука
Ушиблена слегка,
И впрочем все фальшивая тревога.

Молчалин

Я вас перепугал, простите ради бога.

Скалозуб

Ну! я не знал, что будет из того

[39] По сообщению П. А. Вяземского, первоначально эта часть стиха относилась к реплике Чацкого и по его совету была передана Лизе: «Чацкий говорил: "Желал бы с ним убиться для компаньи". Тут заметил я, что влюбленному Чацкому... неловко употреблять пошлое выражение "для компаньи", а лучше передать его служанке Лизе. Так Грибоедов и сделал» (*Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1882. Т. VII. С. 343). Это свидетельство Вяземского подтверждается вариантами Музейного автографа (см. С. 170).

Вам ирритация[40].
Опро́метью вбежали. [41]—
Мы вздрогнули. — Вы в обморок упали,
И что ж? — весь страх из ничего.

София
(не глядя ни на кого)
Ах! очень вижу: из пустого,
А вся еще теперь дрожу.

Чацкий
(про себя)
С Молчалиным ни слова!

София
(по-прежнему)
Однако о себе скажу,
Что не труслива. Так, бывает,
Карета свалится, подымут: я опять
Готова сызнова скакать;
Но все малейшее в других меня пугает,
Хоть нет великого несчастья от того,
Хоть незнакомый мне, — до этого нет дела.

Чацкий
(про себя)
Прощенья просит у него,
Что раз о ком-то пожалела!

---

[40] Ирритация — волнение (от франц. une irritation)

[41] Д. А. Смирнов записал по поводу этих слов следующее высказывание М. С. Щепкина: «Знаете ли, что одно слово из комедии, именно слово "опрометью", написанное Грибоедовым, так, что по метру стихов надо читать его "опро́метью", имело свою историю. На это слово нападали многие. <...> Раз дошло до того, что один господин говорит мне в театре:

— Михаил Семенович, как это вам не стыдно: Грибоедов наврал, а вы без стыда повторяете...

— Где это Грибоедов наврал?.. Любопытно узнать.

— Да что это такое за слово, которое у нас, вслух всем, повторяется на сцене — "опро́метью"? Откуда такое слово? По-русски говорится "о́прометью".

— Послушайте, — отвечал я господину, — трудно предположить, чтобы человек, который так знает русский язык и так владеет русским стихом, как Грибоедов, мог наврать иначе, как умышленно. Таких слов, которые доведены метром стихов до необходимости неправильного их произношения, вы найдете в комедии не одно, а пять или шесть. Неужели вы думаете, что Грибоедов не умел бы с этими стихами справиться?.. А я так, напротив, думаю, что это сделано им не спроста, а для того, чтобы показать, что наше общество не умело говорить по-русски» (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1929. С. 293).

Скалозуб
Позвольте расскажу вам весть:
Княгиня Ласова какая-то здесь есть,
Наездница, вдова, но нет примеров,
Чтоб ездило с ней много кавалеров.
На днях расшиблась в пух, —
Жоке́ не поддержал, считал он, видно, мух.
И без того она, как слышно, неуклюжа,
Теперь ребра недостает,
Так для поддержки ищет мужа.

София
Ах! Александр Андреич, вот,
Яви́тесь, вы вполне великодушны:
К несчастью ближнего вы так неравнодушны.

Чацкий
Да-с, это я сейчас явил,
Моим усерднейшим стараньем,
И прысканьем, и оттираньем;
Не знаю для кого, но вас я воскресил.
(Берет шляпу и уходит.)

Явление 10

Те же, кроме Чацкого.
София
Вы вечером к нам будете?

Скалозуб
Как рано?

София
Пораньше: съедутся домашние друзья,
Потанцевать под фортопияно,
Мы в трауре, так балу дать нельзя.

Скалозуб
Явлюсь, но к батюшке зайти я обещался,
Откланяюсь.

София
Прощайте.

Скалозуб
(жмет руку Молчалину)
Ваш слуга.
(Уходит.)

Явление 11

София, Лиза, Молчалин.

София
Молчалин! как во мне рассудок цел остался!
Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога!
Зачем же ей играть, и так неосторожно?
Скажите, что у вас с рукой?
Не дать ли капель вам?
не нужен ли покой?
Пошлемте к доктору, пренебрегать не должно.

Молчалин
Платком перевязал, не больно мне с тех пор.

Лиза
Ударюсь об заклад, что вздор,
И если б не к лицу, не нужно перевязки;
А то не вздор, что вам не избежать огласки:
На смех того гляди подымет Чацкий вас;
И Скалозуб, как свой хохол закрутит,
Расскажет обморок,
прибавит сто прикрас;
Шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит!

София
А кем из них я дорожу?
Хочу люблю, хочу скажу.
Молчалин! будто я себя не принуждала?
Вошли вы, слова не сказала,
При них не смела я дохнуть,
У вас спросить, на вас взглянуть.

Молчалин
Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны.

София
Откуда скрытность почерпнуть!
Готова я была в окошко, к вам прыгну́ть.
Да что мне до кого? до них? до всей вселенны?
Смешно? — пусть шутят их; досадно? — пусть бранят.

Молчалин
Не повредила бы нам откровенность эта.

София
Неужто на дуэль вас вызвать захотят?

Молчалин
Ах! злые языки страшнее пистолета.

Лиза
Сидят они у батюшки теперь,
Вот кабы вы порхнули в дверь
С лицом веселым, беззаботно:
Когда нам скажут, что хотим,
Куда как верится охотно!
И Александр Андреич, — с ним
О прежних днях, о тех проказах
Поразвернитесь-ка в рассказах:
Улыбочка и пара слов,
И кто влюблен — на все готов.

Молчалин
Я вам советовать не смею.
(Целует ей руку.)

София
Хотите вы?.. Пойду любезничать сквозь слез;
Боюсь, что выдержать притворства не сумею.
Зачем сюда бог Чацкого принес!
(Уходит.)

Явление 12

Молчалин, Лиза.

Молчалин
Веселое созданье ты! живое!

Лиза
Прошу пустить, и без меня вас двое.

Молчалин
Какое личико твое!
Как я тебя люблю!

Лиза
А барышню?

Молчалин
Ее
По должности, тебя...
(Хочет ее обнять.)

Лиза
От скуки!
Прошу подальше руки!

Молчалин
Есть у меня вещицы три:
Есть туалет, прехитрая работа —
Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри,
Кругом всё прорезь, позолота;
Подушечка, из бисера узор;
И перламутровый прибор:
Игольничек и ножинки, как милы!
Жемчужинки, растертые в белилы!
Помада есть для губ, и для других причин,
С духами стклянючки: резеда и жасмин.

Лиза
Вы знаете, что я не льщусь на интересы;
Скажите лучше, почему
Вы с барышней скромны, а с горнишной повесы?

Молчалин
Сегодня болен я, обвязки не сниму;
Приди в обед, побудь со мною;
Я правду всю тебе открою.
(Уходит в боковую дверь.)

Явление 13

София, Лиза.

София

Была у батюшки, там нету никого.
Сегодня я больна, и не пойду обедать.
Скажи Молчалину, и позови его,
Чтоб он пришел меня проведать.
(Уходит к себе.)

Лиза

Ну! люди в здешней стороне!
Она к нему, а он ко мне,
А я... одна лишь я любви до смерти трушу, —
А как не полюбить буфетчика Петрушу!

Действие третье

Явление 1

Чацкий, потом София.

Чацкий

Дождусь ее, и вынужу признанье:
Кто наконец ей мил? Молчалин! Скалозуб!
Молчалин прежде был так глуп!..
Жалчайшее созданье!
Уж разве поумнел?.. А тот —
Хрипун, удавленник, фагот,[42]
Созвездие манёвров и мазурки!
Судьба любви — играть ей в жмурки,
А мне...

Входит София.

Вы здесь? я очень рад,
Я этого желал.

София
(про себя)

И очень невпопад.

Чацкий

Конечно не меня искали?

София

Я не искала вас.

Чацкий

Дознаться мне нельзя ли,
Хоть и некстати, ну́жды нет,
Кого вы любите?

София

Ах! Боже мой! весь свет.

Чацкий

Кто более вам мил?

---

[42] *Хрипун...* — Щеголеватые армейские офицеры в начале XIX в. отличались манерой говорить хриплым басом. *...фагот* — музыкальный духовой инструмент, труба с клапанами низкого звучания.

София
Есть многие, родные.

Чацкий
Все более меня?

София
Иные.

Чацкий
И я чего хочу, когда все решено?
Мне в петлю лезть, а ей смешно.

София
Хотите ли знать истины два слова?
Малейшая в ком странность чуть видна,
Веселость ваша не скромна,
У вас тотчас уж острота́ готова,
А сами вы...

Чацкий
Я сам? не правда ли, смешон?

София
Да! грозный взгляд, и резкий тон,
И этих в вас особенностей бездна;
А над собой гроза куда не бесполезна.

Чацкий
Я странен; а не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож;
Молчалин например...

София
Примеры мне не новы;
Заметно, что вы желчь на всех излить готовы;
А я, чтоб не мешать, отсюда уклонюсь.

Чацкий
(держит ее)
Постойте же!

(В сторону.)
Раз в жизни притворюсь.

(Громко.)

Оставимте мы эти пренья.
Перед Молчалиным не прав я, виноват;
Быть может, он не то, что три года назад:
Есть на земле такие превращенья
Правлений, климатов, и нравов, и умов;
Есть люди важные, слыли за дураков:
Иной по армии, иной плохим поэтом,
Иной... Боюсь назвать, но признано всем светом,
Особенно в последние года,
Что стали умны хоть куда.
Пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый;
Но есть ли в нем та страсть? то чувство? пылкость та?
Чтоб кроме вас ему мир целый
Казался прах и суета?
Чтоб сердца каждое биенье
Любовью ускорялось к вам?
Чтоб мыслям были всем и всем его делам
Душою — вы, вам угожденье?..
Сам это чувствую, сказать я не могу,
Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит,
Не пожелал бы я и личному врагу,
А он?.. смолчит и голову повесит.
Конечно смирен, все такие не резвы́;
Бог знает, в нем какая тайна скрыта;
Бог знает, за него что выдумали вы,
Чем голова его ввек не была набита.
Быть может качеств ваших тьму,
Любуясь им, вы придали ему;
Не грешен он ни в чем, вы во сто раз грешнее.
Нет! нет! пускай умен, час от часу умнее;
Но вас он стоит ли? вот вам один вопрос;
Чтоб равнодушнее мне понести утрату,
Как человеку вы, который с вами взрос,
Как другу вашему, как брату
Мне дайте убедиться в том;
Потом
От сумасшествия могу я остеречься;
Пущусь подалее простыть, охолодеть,
Не думать о любви, но буду я уметь
Теряться по́ свету, забыться и развлечься.

София

(про себя)

Вот нехотя с ума свела!

(Вслух.)

Что притворяться?
Молчалин давиче мог без руки остаться,
Я живо в нем участье приняла;
А вы, случась на эту пору,
Не позаботились расчесть,
Что можно доброй быть ко всем и без разбору;
Но, может, истина в догадках ваших есть,
И горячо его беру я под защиту:
Зачем же быть, скажу вам напрямик,
Так невоздержну на язык?
В презреньи к людям так нескрыту?
Что и смирнейшему пощады нет!.. чего?
Случись кому назвать его:
Град колкостей и шуток ваших грянет.
Шутить! и век шутить! как вас на это станет! —

Чацкий

Ах! Боже мой! неужли я из тех,
Которым цель всей жизни — смех?
Мне весело, когда смешных встречаю,
А чаще с ними я скучаю.

София

Напрасно: это все относится к другим,
Молчалин вам наскучил бы едва ли,
Когда б сошлись короче с ним.

Чацкий

(с жаром)

Зачем же вы его так коротко узнали?

София

Я не старалась, бог нас свел.
Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел:
При батюшке три года служит,
Тот часто бе́з толку сердит,
А он безмолвием его обезоружит,
От доброты души простит;
И между прочим,

Веселостей искать бы мог;
Ничуть: от старичков не ступит за порог;
Мы рéзвимся, хохочем;
Он с ними целый день засядет, рад не рад,
Играет...

Чацкий
Целый день играет!
Молчит, когда его бранят!
(В сторону)
Она его не уважает.

София
Конечно, нет в нем этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума,
Который скор, блестящ и скоро опротивит,
Который свет ругает наповал,
Чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал;
Да эдакий ли ум семейство осчастливит?

Чацкий
Сатира и мораль — смысл этого всего?
(В сторону.)
Она не ставит в грош его.

София
Чудеснейшего свойства
Он наконец: уступчив, скромен, тих,
В лице ни тени беспокойства
И на душе проступков никаких;
Чужих и вкривь и вкось не рубит, —
Вот я за что его люблю.

Чацкий
(в сторону)
Шалит, она его не любит.
(Вслух.)
Докончить я вам пособлю
Молчалина изображенье.
Но Скалозуб? вот загляденье:
За армию стоит горой,
И прямизною стана,
Лицом и голосом герой...

София
Не моего романа.

Чацкий
Не вашего? кто разгадает вас?

Явление 2

Чацкий, София, Лиза.

Лиза
(шепотом)
Сударыня, за мной сейчас
К вам Алексей Степаныч будет.

София
Простите, надобно идти мне поскорей.

Чацкий
Куда?

София
К прихмахеру.

Чацкий
Бог с ним.

София
Щипцы простудит.

Чацкий
Пускай себе...

София
Нельзя, ждем на́ вечер гостей.

Чацкий
Бог с вами, остаюсь опять с моей загадкой.
Однако дайте мне зайти, хотя украдкой,
К вам в комнату на несколько минут;
Там стены, воздух — все приятно!
Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут
Воспоминания об том, что невозвратно!
Не засижусь, войду, всего минуты две,

Потом подумайте, член Английского клуба,
Я там дни целые пожертвую молве
Про ум Молчалина, про душу Скалозуба.

София пожимает плечами, уходит
к себе и запирается, за нею и Лиза.

Явление 3

Чацкий, потом Молчалин.

Чацкий

Ах! Софья! Неужли Молчалин избран ей!
А чем не муж? Ума в нем только мало;
Но чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?
Услужлив, скромненький, в лице румянец есть.

Входит Молчалин.

Вот он, на цыпочках, и не богат словами;
Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!

(Обращается к нему.)

Нам, Алексей Степаныч, с вами
Не удалось сказать двух слов.
Ну, образ жизни ваш каков?
Без горя нынче? без печали?

Молчалин

По-прежнему-с.

Чацкий

А прежде как живали?

Молчалин

День за́ день, нынче как вчера.

Чацкий

К перу от карт? и к картам от пера?
И положённый час приливам и отливам?

Молчалин

По мере я трудов и сил,
С тех пор, как числюсь по Архивам,[43]
Три награжденья получил.

[43] В московские архивы зачислялись аристократические юноши, которые на службу не являлись, но чины получали.

Чацкий
Взманили почести и знатность?

Молчалин
Нет-с, свой талант у всех...

Чацкий
У вас?

Молчалин
Два-с:
Умеренность и аккуратность.

Чацкий
Чудеснейшие два! и стоят наших всех.

Молчалин
Вам не дались чины, по службе неуспех?

Чацкий
Чины людьми даются;
А люди могут обмануться.

Молчалин
Как удивлялись мы!

Чацкий
Какое ж диво тут?

Молчалин
Жалели вас.

Чацкий
Напрасный труд.

Молчалин
Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,[44]

[44] Образ «Татьяны Юрьевны», мелькающий в диалоге Чацкого и Молчалина, несомненно, привлекал значительное внимание Грибоедова. В первоначальной, Музейной редакции он охарактеризован еще более выразительно. Прототипом Татьяны Юрьевны считают Прасковью Юрьевну Кологривову, в первом браке Гагарину, урожденную Трубецкую. Декабрист Д. И. Завалишин свидетельствовал: «Что касается Татьяны Юрьевны, то тут автор действительно разумел Прасковью Юрьевну К., прославившуюся особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая,

Из Петербурга воротясь,
С министрами про вашу связь,
Потом разрыв...

Чацкий
Ей почему забота?

Молчалин
Татьяне Юрьевне!

Чацкий
Я с нею незнаком.

Молчалин
С Татьяной Юрьевной!!

Чацкий
С ней век мы не встречались;
Слыхал, что вздорная.

Молчалин
Да это, полно, та ли-с?
Татьяна Юрьевна!!! Известная, — притом
Чиновные и должностные
Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

Чацкий
На что же?

Молчалин
Так: частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.

Чацкий
Я езжу к женщинам, да только не за этим.

вероятно, что это звание важнее всех его титулов» (Древняя и новая Россия, 1879, № 4. С. 314. Ср.: *Гершензон М.* Грибоедовская Москва М., 1916. С. 106).

Молчалин
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы дает нельзя богаче,
От Рождества и до поста,
И летом праздники на даче.
Ну, право, что́ бы вам в Москве у нас служить?
И награжденья брать, и весело пожить?

Чацкий
Когда в делах, я от веселий прячусь,
Когда дурачиться: дурачусь;
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Молчалин
Простите, впрочем, тут не вижу преступленья;
Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?

Чацкий
Ну что ж?

Молчалин
При трех министрах был начальник отделенья;[45]
Переведен сюда...

Чацкий
Хорош!
Пустейший человек из самых бестолковых!

Молчалин
Как можно! слог его здесь ставят в образец!
Читали вы?

Чацкий
Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.

[45] Начальник отделенья — крупная должность в царских министерствах, соединявшаяся обычно с чином действительного статского советника (штатского генерала).

Молчалин
Нет, мне так довелось с приятностью прочесть,
Не сочинитель я...

Чацкий
И по всему заметно.

Молчалин
Не смею моего сужденья произнесть.

Чацкий
Зачем же так секретно?

Молчалин
В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Чацкий
Помилуйте, мы с вами не ребяты;
Зачем же мнения чужие только святы?

Молчалин
Ведь надобно ж зависеть от других.

Чацкий
Зачем же надобно?

Молчалин
В чинах мы небольших.

Чацкий
(почти громко)
С такими чувствами, с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!

Явление 4

Вечер. Все двери настежь, кроме в спальню к Софии. В перспективе раскрывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся, один из них, главный, говорит:

Эй! Филька, Фомка, ну, ловчей!
Столы для карт, мел, щеток и свечей!
(Стучится к Софии в дверь.)
Скажите барышне скорее, Лизавета:
Наталья Дмитревна, и с мужем, и к крыльцу
Еще подъехала карета.
Расходятся, остается один Чацкий.

Явление 5

Чацкий, Наталья Дмитриевна, молодая дама.

Наталья Дмитриевна
Не ошибаюсь ли!..
он точно, по лицу...
Ах! Александр Андреич, вы ли?

Чацкий
С сомненьем смотрите от ног до головы;
Неужли так меня три года изменили?

Наталья Дмитриевна
Я полагала вас далёко от Москвы.
Давно ли?

Чацкий
Нынче лишь...

Наталья Дмитриевна
Надолго?

Чацкий
Как случится.
Однако кто, смотря на вас, не подивится!
Полнее прежнего, похорошели страх.
Моложе вы, свежее стали;
Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах.

Наталья Дмитриевна
Я замужем.

Чацкий
Давно бы вы сказали!

Наталья Дмитриевна
Мой муж — прелестный муж, вот он сейчас войдет,
Я познакомлю вас, хотите?

Чацкий
Прошу.

Наталья Дмитриевна
И знаю наперед,
Что вам понравится. Взгляните и судите!

Чацкий
Я верю, он вам муж.

Наталья Дмитриевна
О нет-с, не потому;
Сам по себе, по нраву, по уму.
Платон Михайлыч мой единственный, бесценный!
Теперь в отставке, был военный;
И утверждают все, кто только прежде знал,
Что с храбростью его, с талантом,
Когда бы службу продолжал,
Конечно был бы он московским комендантом.

Явление 6

Чацкий, Наталья Дмитриевна, Платон Михайлович.

Наталья Дмитриевна
Вот мой Платон Михайлыч.

Чацкий
Ба!
Друг старый, мы давно знакомы, вот судьба!

Платон Михайлович
Здорово, Чацкий, брат!

Чацкий
Платон любезный, славно.
Похвальный лист тебе: ведешь себя исправно.

Платон Михайлович
Как видишь, брат:
Московский житель и женат.

Чацкий
Забыт шум лагерный, товарищи и братья?
Спокоен и ленив?

Платон Михайлович
Нет, есть-таки занятья:
На флейте я твержу дуэт
А-мольный...

Чацкий
Что твердил назад тому пять лет?
Ну, постоянный вкус! в мужьях всего дороже!

Платон Михайлович
Брат, женишься, тогда меня вспомянь!
От скуки будешь ты свистеть одно и то же.

Чацкий
От скуки! как? уж ты ей платишь дань?

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч мой к занятьям склонен разным,
Которых нет теперь; к ученьям и смотрам,
К манежу... иногда скучает по утрам.

Чацкий
А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным?
В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?[46]

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб.

Чацкий
Здоровьем слаб! Давно ли?

Наталья Дмитриевна
Все рюматизм и головные боли.

Чацкий
Движенья более. В деревню, в теплый край.
Будь чаще на коне. Деревня летом — рай.

[46] Т.е. обер-офицер или штаб-офицер? Обер-офицеры — младшая группа офицеров — до капитана, штаб-офицеры — от майора до полковника.

Наталья Дмитриевна
Платон Михайлыч город любит,
Москву; за что в глуши он дни свои погубит!

Чацкий
Москву и город... Ты чудак!
А помнишь прежнее?

Платон Михайлович
Да, брат, теперь не так...

Наталья Дмитриевна
Ах! мой дружочик!
Здесь так свежо, что мочи нет,
Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет.

Платон Михайлович
Теперь, брат, я не тот...

Наталья Дмитриевна
Послушайся разочек,
Мой милый, застегнись скорей.

Платон Михайлович
(хладнокровно)
Сейчас.

Наталья Дмитриевна
Да отойди подальше от дверей,
Сквозной там ветер дует сзади!

Платон Михайлович
Теперь, брат, я не тот...

Наталья Дмитриевна
Мой ангел, бога ради
От двери дальше отойди.

Платон Михайлович
(глаза к небу)
Ах! матушка!

Чацкий

Ну, бог тебя суди;
Уж точно, стал не тот в короткое ты время;
Не в прошлом ли году, в конце,
В полку тебя я знал?
лишь утро: ногу в стремя
И носишься на борзом жеребце;
Осенний ветер дуй, хоть спереди, хоть с тыла.

Платон Михайлович

(со вздохом)

Эх! братец! славное тогда житье-то было.

Явление 7

Те же, Князь Тугоуховский и Княгиня с шестью дочерьми.

Наталья Дмитриевна

(тоненьким голоском)

Князь Петр Ильич, княгиня! боже мой!
Княжна Зизи! Мими!

Громкие лобызания, потом усаживаются и осматривают одна другую с головы до ног.

1-я княжна

Какой фасон прекрасный!

2-я княжна

Какие складочки!

1-я княжна

Обшито бахромой.

Наталья Дмитриевна

Нет, если б видели, мой тюрлюрлю[47] атласный!

3-я княжна

Какой эшарп[48] cousin[49] мне подарил!

4-я княжна

Ах! да, барежевый!

5-я княжна

Ах прелесть!

---

[47] дамский наряд, мантилья.
[48] (франц.: echarpe) — шарф, повязка.
[49] Двоюродный брат (франц.).

6-я княжна
Ах! как мил!

Княгиня
Сс! — Кто это в углу, взошли мы, поклонился?

Наталья Дмитриевна
Приезжий, Чацкий.

Княгиня
От-став-ной?

Наталья Дмитриевна
Да, путешествовал, недавно воротился.

Княгиня
И хо-ло-стой?

Наталья Дмитриевна
Да, не женат.

Княгиня
Князь, князь, сюда. Живее!

Князь
(к ней оборачивает слуховую трубку)
О-хм!

Княгиня
К нам на́ вечер, в четверг, проси скорее
Натальи Дмитревны знакомого: вон он!

Князь
И-хм!
(Отправляется, вьется около Чацкого и покашливает)

Княгиня
Вот то-то, детки:
Им бал, а батюшка таскайся на поклон;
Танцовщики ужасно стали редки!..
Он камер-юнкер?[50]

[50] младший придворный чин.

Наталья Дмитриевна
Нет.

Княгиня
Бо-гат?

Наталья Дмитриевна
О нет!

Княгиня
(громко, что есть мочи)
Князь, князь! Назад!

Явление 8

Те же и Графини Хрюмины: бабушка и внучка.

Графиня внучка
Ах! grand' maman![51] Ну, кто так рано приезжает?
Мы первые!
(Пропадает в боковую комнату.)

Княгиня
Вот нас честит!
Вот первая, и нас за никого считает!
Зла, в девках целый век, уж бог ее простит.

Графиня внучка
(вернувшись, направляет на Чацкого двойной лорнет)
Мсье Чацкий! вы в Москве! как были, всё такие?

Чацкий
На что меняться мне?

Графиня внучка
Вернулись холостые?

Чацкий
На ком жениться мне?

[51] Бабушка (франц.).

Графиня внучка
В чужих краях на ком?
О! наших тьма без дальних справок
Там женятся, и нас дарят родством
С искусницами модных лавок.

Чацкий
Несчастные! должны ль упреки несть
От подражательниц модисткам?
За то, что смели предпочесть
Оригиналы спискам?

Явление 9

Те же и множество других гостей. Между прочим Загорецкий. Мужчины являются, шаркают, отходят в сторону, кочуют из комнаты в комнату и проч. София от себя выходит, все к ней навстречу.

Графиня внучка
Eh! bon soir! vous voilà! Jamais trop diligente,
Vous nous donnez toujours le plaisir de l'attente.[52]

Загорецкий
На завтрашний спектакль имеете билет?

София
Нет.

Загорецкий
Позвольте вам вручить, напрасно бы кто взялся
Другой вам услужить, зато
Куда я ни кидался!
В контору — все взято,
К директору — он мне приятель, —
С зарей в шестом часу, и кстати ль!
Уж с вечера никто достать не мог;
К тому, к сему, всех сбил я с ног;
И этот наконец похитил уже силой
У одного, старик он хилый,
Мне друг, известный домосед;
Пусть дома просидит в покое.

[52] А! добрый вечер! наконец-то и вы! Вы не торопитесь, и мы всегда вас с удовольствием поджидаем (франц.).

София
Благодарю вас за билет,
А за старанье вдвое.
Являются еще кое-какие, тем временем Загорецкий отходит к мужчинам.

Загорецкий
Платон Михайлыч...

Платон Михайлович
Прочь!
Поди ты к женщинам, лги им, и их морочь;
Я правду об тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вот, брат, *(Чацкому)* рекомендую!
Как эдаких людей учтивее зовут,
Нежнее? — человек он светский,
Отъявленный мошенник, плут:
Антон Антоныч Загорецкий.
При нем остерегись: переносить горазд,[53]
И в карты не садись: продаст.

Загорецкий
Оригинал! брюзглив, а без малейшей злобы.

Чацкий
И оскорбляться вам смешно бы,
Окроме честности, есть множество отрад:
Ругают здесь, а там благодарят.

Платон Михайлович
Ох, нет, братец! у нас ругают
Везде, а всюду принимают.
Загорецкий мешается в толпу.

Явление 10

Те же и Хлёстова.

Хлёстова
Легко ли в шестьдесят пять лет
Тащиться мне к тебе, племянница?.. мученье!
Час битый ехала с Покровки, силы нет;
Ночь — света преставленье!

[53] т. е., доносить, совершать политические и иные доносы.

От скуки я взяла с собой
Арапку-девку да собачку, [54]—
Вели их накормить, ужо, дружочик мой;
От ужина сошли подачку.
Княгиня, здравствуйте!
(Села.)
Ну, Софьюшка, мой друг,
Какая у меня арапка для услуг,
Курчавая! горбом лопатки!
Сердитая! все кошачьи ухватки!
Да как черна! да как страшна!
Ведь создал же господь такое племя!
Черт сущий; в девичей она;
Позвать ли?

София
Нет-с; в другое время.

Хлёстова
Представь: их, как зверей, выводят напоказ,
Я слышала, там... город есть турецкий...
А знаешь ли, кто мне припас?
Антон Антоныч Загорецкий.
Загорецкий выставляется вперед.
Лгунишка он, картежник, вор.
Загорецкий исчезает.
Я от него было и двери на запор;
Да мастер услужить: мне и сестре Прасковье
Двоих ара́пченков на ярмонке достал;
Купил, он говорит, чай в карты сплутовал;
А мне подарочек, дай бог ему здоровье!

Чацкий
(с хохотом Платону Михайловичу)
Не поздоровится от эдаких похвал,
И Загорецкий сам не выдержал, пропал.

Хлёстова
Кто этот весельчак? Из звания какого?

[54] При царском дворе и у петербургских и московских бар была манера держать среди челяди негров — «арапов».

София

Вон этот? Чацкий.

Хлёстова

Ну? а что нашел смешного?
Чему он рад? Какой тут смех?
Над старостью смеяться грех.
Я помню, ты дитёй с ним часто танцевала,
Я за уши его дирала, только мало.

Явление 11

Те же и Фамусов.

Фамусов

(громогласно)

Ждем князя Пётра Ильича,
А князь уж здесь! А я забился там, в портретной.
Где Скалозуб Сергей Сергеич? а?
Нет; кажется, что нет. — Он человек заметный —
Сергей Сергеич Скалозуб.

Хлёстова

Творец мой! оглушил, звончее всяких труб!

Явление 12

Те же и Скалозуб, потом Молчалин.

Фамусов

Сергей Сергеич, запоздали;
А мы вас ждали, ждали, ждали.
(Подводит к Хлёстовой)
Моя невестушка, которой уж давно
Об вас говорено.

Хлёстова

(сидя)

Вы прежде были здесь... в полку... в том... в гренадерском?

Скалозуб

(басом)

В его высочества, хотите вы сказать,
Ново-землянском мушкетерском.

Хлёстова

Не мастерица я полки-то различать.

Скалозуб

А форменные есть отлички:
В мундирах выпушки, погончики, петлички.

Фамусов

Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу,
Курьезный вист у нас. За нами, князь! прошу.
(Его и князя уводит с собою.)

Хлёстова

(Софии)

Ух! я точнехонько избавилась от петли;
Ведь полоумный твой отец;
Дался ему трех сажень удалец, —
Знакомит, не спросясь, приятно ли нам, нет ли!

Молчалин

(подает ей карту)

Я вашу партию составил: мосьё Кок,
Фома Фомич и я.

Хлёстова

Спасибо, мой дружок.
(Встает.)

Молчалин

Ваш шпиц — прелестный шпиц, не более наперстка,
Я гладил все его; как шелковая шерстка!

Хлёстова

Спасибо, мой родной!
Уходит, за ней Молчалин и многие другие.

Явление 13

Чацкий, София и несколько посторонних, которые в продолжении расходятся.

Чацкий

Ну! тучу разогнал...

София

Нельзя ль не продолжать?

Чацкий

Чем вас я напугал?
За то, что он смягчил разгневанную гостью,
Хотел я похвалить.

София
А кончили бы злостью.

Чацкий
Сказать вам, что я думал? Вот:
Старушки все народ сердитый;
Не худо, чтоб при них услужник знаменитый
Тут был, как громовой отвод.
Молчалин! — Кто другой так мирно всё уладит!
Там моську вовремя погладит,
Тут в пору карточку вотрет,
В нем Загорецкий не умрет!
Вы давиче его мне исчисляли свойства,
Но многие забыли? — Да?
(Уходит.)

Явление 14

София, потом г. N.

София
(про себя)
Ах! этот человек всегда
Причиной мне ужасного расстройства!
Унизить рад, кольнуть;
завистлив, горд и зол!

г. N.
(подходит)
Вы в размышленье.

София
Об Чацком.

г. N.
Как его нашли по возвращеньи?

София
Он не в своем уме.

г. N.
Ужли с ума сошел?

София
(помолчавши)
Не то, чтобы совсем...

г. N.
Однако есть приметы?

София
(смотрит на него пристально)
Мне кажется.

г. N.
Как можно, в эти леты!

София
Как быть!
(В сторону.)
Готов он верить!
А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить,
Угодно ль на себе примерить?
(Уходит.)

Явление 15

г. N., потом г. D.
г. N.
С ума сошел!.. Ей кажется... вот на!
Недаром? Стало быть... с чего б взяла она!
Ты слышал?

г. D.
Что?

г. N.
Об Чацком?

г. D.
Что такое?

г. N.
С ума сошел!

г. D.
Пустое.

г. N.
Не я сказал, другие говорят.

г. D.
А ты расславить это рад?

г. N.
Пойду, осведомлюсь; чай кто-нибудь да знает.
(Уходит.)

Явление 16

г. D., потом Загорецкий.
г. D.
Верь болтуну!
Услышит вздор, и тотчас повторяет!
Ты знаешь ли об Чацком?

Загорецкий
Ну?

г. D.
С ума сошел!

Загорецкий
А! знаю, помню, слышал.
Как мне не знать?
примерный случай вышел;
Его в безумные упрятал дядя-плут...
Схватили, в желтый дом,[55] и на́ цепь посадили.

г. D.
Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут.

Загорецкий
Так с цепи, стало быть, спустили.

г. D.
Ну, милый друг, с тобой не надобно газет,
Пойду-ка я, расправлю крылья,
У всех повыспрошу; однако, чур! секрет.
(Уходит.)

[55] дом умалишенных.

Явление 17

Загорецкий, потом графиня внучка.

Загорецкий

Который Чацкий тут? — Известная фамилья.
С каким-то Чацким я когда-то был знаком.
Вы слышали об нем?

Графиня внучка

Об ком?

Загорецкий

Об Чацком, он сейчас здесь в комнате был.

Графиня внучка

Знаю.
Я говорила с ним.

Загорецкий

Так я вас поздравляю:
Он сумасшедший...

Графиня внучка

Что?

Загорецкий

Да, он сошел с ума.

Графиня внучка

Представьте, я заметила сама;
И хоть пари держать, со мной в одно вы слово.

Явление 18

Те же и Графиня бабушка.

Графиня внучка

Ah! grand'maman, вот чудеса! вот ново!
Вы не слыхали здешних бед?
Послушайте. Вот прелести! вот мило!..

Графиня бабушка

Мой *т*руг, мне уши залош*и*ло;
Скаш*и* покромче...

Графиня внучка
Время нет!

(Указывает на Загорецкого.)
Il vous dira toute l'histoire.[56]
Пойду, спрошу...
(Уходит.)

Явление 19

Загорецкий, графиня бабушка.

Графиня бабушка
Что? что? уж нет ли здесь по*ш*ара?

Загорецкий
Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму.

Графиня бабушка
Как, Чацкого? Кто свел в тюрьму?

Загорецкий
В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны.

Графиня бабушка
Что? К фармаз*а*нам[57] в клоб? Пошел он в *п*усурманы?

Загорецкий
Ее не вразумишь.
(Уходит.)

Графиня бабушка
Антон Антоныч! Ах!
И он *п*ешит, все в страхе, впопыхах.

Явление 20

Графиня бабушка и Князь Тугоуховский.

Графиня бабушка
Князь, князь! Ох, этот князь, по *п*алам, сам чуть *т*ышит!
Князь, слышали?

---

[56] Он вам расскажет все подробно (франц.).

[57] Фармазоны — испорченное слово франк-масоны (франц. franc-maçons), «свободные каменщики», члены религиозно-филантропического общества, распространенного по всей Европе; в России в XVIII в. и особенно в первой четверти XIX в. было много масонских лож (организаций), которые вызывали подозрительное отношение и преследования со стороны правительства. По распоряжению Александра I, в 1822 г. все масонские ложи были закрыты. Сам Грибоедов был членом масонских лож. Клоб — клуб.

Князь
А-хм?

Графиня бабушка
Он ничего не слышит!
Хоть, мо*ш*ет видели, здесь полицмейстер *п*ыл?

Князь
Э-хм?

Графиня бабушка
В тюрьму-та, князь, кто Чацкого схватил?

Князь
И-хм?

Графиня бабушка
Тесак ему, да ранец,
В солта*т*ы! Шутка ли! переменил закон!

Князь
У-хм?

Графиня бабушка
Да!.. в *п*усурманах он!
Ах! окаянный волтерьянец![58]
Что? а? Глух, мой отец; достаньте свой рошок.
Ох! глухота *п*ольшой порок.

Явление 21

Те же и Хлёстова, София, Молчалин, Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, Графиня внучка, Княгиня с дочерьми, Загорецкий, Скалозуб, потом Фамусов и многие другие.

Хлёстова
С ума сошел! прошу покорно!
Да невзначай! да как проворно!
Ты, Софья, слышала?

Платон Михайлович
Кто первый разгласил?

[58] последователь французского мыслителя XVIII в. Вольтера; в тогдашнем смысле — вольнодумец.

Наталья Дмитриевна
Ах, друг мой, все!

Платон Михайлович
Ну, все, так верить поневоле,
А мне сомнительно.

Фамусов
(*входя)*
О чем? о Чацком, что ли?
Чего сомнительно? Я первый, я открыл!
Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет!
Попробуй о властях, и невесть что наскажет!
Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцом,
Хоть пред монаршиим лицом,
Так назовет он подлецом!..

Хлёстова
Туда же из смешливых;
Сказала что-то я — он начал хохотать.

Молчалин
Мне отсоветовал в Москве служить в Архивах.

Графиня внучка
Меня модисткою изволил величать!

Наталья Дмитриевна
А мужу моему совет дал жить в деревне.

Загорецкий
Безумный по всему.

Графиня внучка
Я видела из глаз.

Фамусов
По матери пошел, по Анне Алексевне;
Покойница с ума сходила восемь раз.

Хлёстова
На свете дивные бывают приключенья!
В его лета с ума спрыгну́л!
Чай, пил не по летам.

Княгиня
О! верно...

Графиня внучка
Без сомненья.

Хлёстова
Шампанское стаканами тянул.

Наталья Дмитриевна
Бутылками-с, и пребольшими.

Загорецкий
(с жаром)
Нет-с, бочками сороковыми.

Фамусов
Ну вот! великая беда,
Что выпьет лишнее мужчина!
Ученье — вот чума, ученость — вот причина,
Что нынче, пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

Хлёстова
И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их;
Да от ланкартачных взаимных обучений.[59]

Княгиня
Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-гический,[60] так, кажется, зовут:

[59] Ланкартачный — искаженное слово «ланкастерский». Система английского педагога Ланкастера (1771–1838) состояла в том, что более сильные ученики обучали слабейших, помогая учителю. В 1819 г. в Петербурге было учреждено Общество училищ взаимного обучения. О ланкастерской системе много писали в журналах, ею увлекались поборники народного просвещения, передовые офицеры при обучении солдат в армии; в частности, декабристы. Политический процесс «первого декабриста» В. Ф. Раевского в 1822 г. связан с его деятельностью в ланкастерских школах. В. К. Кюхельбекер по выходе из Лицея был членом Комитета Вольного общества учреждения училищ по методе взаимного обучения. Люди невежественные и косные могли «с ума сходить» от раздражения по поводу этого движения.

[60] Педагогический институт в Петербурге, основанный в 1804 г., в 1816 г. преобразован в Главный педагогический институт. Интересно отметить, что преподавателем благородного пансиона при петербургском Педагогическом институте с 1817 по 1820 г. был друг Грибоедова, декабрист В. К. Кюхельбекер, общавшийся с ним в Тифлисе во время создания «Горя от ума».

Там упражняются в расколах и в безверьи,
Профессоры!![61] — У них учился наш родня,
И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.
От женщин бегает, и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник.[62]

Скалозуб
Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий.

Фамусов
Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы, да сжечь.

Загорецкий
Нет-с, книги книгам рознь. А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег; ох! басни — смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари.

---

[61] Реплика Тугоуховской находится в полном соответствии с проводившимся в начале 20-х годов XIX в. новым курсом правительства в отношении учебных заведений. В 1821 г. реакционный попечитель петербургского учебного округа Д. П. Рунич обрушился на профессоров: Э. С. Раупаха, К. Ф. Германа, К. И. Арсеньева и А. И. Галича; им ставились в вину «открытое отвержение истин св. писания и христианства», соединяемое «с покушением ниспровергнуть и законные власти». Профессорам запрещено было преподавание (см.: *Давидович Я.* «Дело» Санкт-Петербургского университета в 1821 году // Вестник Ленинградского университета, 1947, № 3. С. 145–155). Такой же погром был учинен М. Л. Магницким в Казанском университете. «Преобразованиям» подвергся в 1822 г. также Александровский лицей, в котором учился Пушкин (см.: *Гессен С. Я.* К истории разгрома пушкинского лицея. — Литературный современник, 1937, № 1. С. 252–259).

[62] В воспоминаниях Т.П. Пассек рассказывается, что у А.А. Яковлева, дяди Герцена, «был совершеннолетний сын Алексей Александрович, умный, образованный, ученый, известный под названием "Химика", о котором Грибоедов сказал в своей комедии "Горе от ума":
Он химик, он ботаник,
Князь Федор, наш племянник».
(Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. М., 1963. Т. 1. С. 94). Подробную и сочувственную характеристику А.А. Яковлева-Химика, тоже с указанием на «Горе от ума», дает А.И. Герцен в «Былом и думах», ч. I, гл. VI (*Герцен А.И.* Собр.соч. В 30-ти т. М., 1956. Т. VIII. С. 110–115).

Хлёстова
Отцы мои, уж кто в уме расстроен,
Так все равно, от книг ли, от питья ль, А Чацкого мне жаль.
По-христиански так, он жалости достоин,
Был острый человек, имел душ сотни три.

Фамусов
Четыре.

Хлёстова
Три, суда́рь.

Фамусов
Четыреста.

Хлёстова
Нет! триста.

Фамусов
В моем календаре...

Хлёстова
Всё врут календари.

Фамусов
Как раз четыреста, ох! спорить голосиста!

Хлёстова
Нет! триста! — уж чужих имений мне не знать!

Фамусов
Четыреста, прошу понять.

Хлёстова
Нет! триста, триста, триста.

Явление 22

Те же все и Чацкий.

Наталья Дмитриевна
Вот он.

Графиня внучка
Шш!

Все
Шш!
(Пятятся от него в противную сторону.)

Хлёстова
Ну как с безумных глаз
Затеет драться он, потребует к разделке!

Фамусов
О господи! помилуй грешных нас!

(Опасливо.)
Любезнейший! Ты не в своей тарелке.
С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты нездоров.

Чацкий
Да, мочи нет: мильон терзаний
Груди от дружеских тисков,
Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,
А пуще голове от всяких пустяков.

(Подходит к Софье.)
Душа здесь у меня каким-то горем сжата,
И в многолюдстве я потерян, сам не свой.
Нет! недоволен я Москвой.

Хлёстова
Москва, вишь, виновата.

Фамусов
Подальше от него.

(Делает знак Софии.)
Гм, Софья! — Не глядит!

София
(Чацкому)
Скажите, что вас так гневит?

Чацкий

В той комнате незначущая встреча:
Французик из Бордо,[63] надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча,
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал — и нашел, что ласкам нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;
Своя провинция. Посмотришь, вечерком
Он чувствует себя здесь маленьким царьком;
Такой же толк у дам, такие же наряды...
Он рад, но мы не рады.
Умолк. И тут со всех сторон
Тоска, и оханье, и стон:
Ах! Франция! Нет в мире лучше края! —
Решили две княжны, сестрицы, повторяя
Урок, который им из детства натвержён.
Куда деваться от княжен!
Я одаль воссылал желанья
Смиренные, однако вслух,
Чтоб истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою возжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой.
Пускай меня отъявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад, —
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую —
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,

---

[63] Образ «французика из Бордо», возможно, подсказан следующим сатирическим «известием» журнала Н. И. Новикова «Трутень»: «На сих днях в здешний порт прибыл из *Бурдо* корабль: на нем кроме самых модных товаров, привезены 24 француза, сказывающие о себе, что они все бароны, шевалье, маркизы и графы <...> Многие из них в превеликой жили ссоре с парижскою полициею <...> и ради того приехали они сюда, и намерены вступить в должности учителей и гофмейстеров молодых благородных людей <...> Любезные сограждане, спешите нанимать сих чужестранцев для воспитания ваших детей! Поручайте немедленно будущую подпору государства сим побродягам (ср.: д. I, 131— *«Берем же побродяг...» — Н. П.*) и думайте, что вы исполнили долг родительский, когда наняли в учители французов, не узнав прежде ни знания их, ни поведения» (Трутень, 1769 г., 11 авг., л. XVI).

Рассудку вопреки, наперекор стихиям,
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..
Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев;
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
«Как европейское поставить в параллель
С национальным — странно что-то!
Ну как перевести мадам и мадмуазель?
Ужли сударыня!!» — забормотал мне кто-то...
Вообразите, тут у всех
На мой же счет поднялся смех.
«Сударыня! Ха! ха! ха! ха! прекрасно!
Сударыня! Ха! ха! ха! ха! ужасно!!» —
Я, рассердясь и жизнь кляня,
Готовил им ответ громовый;
Но все оставили меня. —
Вот случай вам со мною, он не новый;
Москва и Петербург — во всей России то,
Что человек из города Бордо
Лишь рот открыл, имеет счастье
Во всех княжен вселять участье;
И в Петербурге и в Москве,
Кто недруг выписных лиц, вычур, слов кудрявых,
В чьей по несчастью голове
Пять, шесть найдется мыслей здравых,
И он осмелится их гласно объявлять, —
Глядь...

Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам.

Действие четвертое

У Фамусова в доме парадные сени; большая лестница из второго жилья[64], к которой примыкают многие побочные из антресолей; внизу справа (от действующих лиц) выход на крыльцо и швейцарская ложа; слева, на одном же плане, комната Молчалина. Ночь. Слабое освещение. Лакеи иные суетятся, иные спят в ожидании господ своих.

Явление 1

Графиня бабушка, графиня внучка, впереди их Лакей.

Лакей

Графини Хрюминой карета.

Графиня внучка

(покуда ее укутывают)

Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать!
Какие-то уроды с того света,
И не с кем говорить, и не с кем танцовать.

Графиня бабушка

Поетем, матушка, мне прафо не под силу,
Когда-нибуть я с палала та в могилу.

Обе уезжают.

Явление 2

Платон Михайлович и Наталья Дмитриевна;
один лакей около их хлопочет, другой у подъезда кричит:

Карета Горича.

Наталья Дмитриевна

Мой ангел, жизнь моя,
Бесценный, душечка, Попошь, чтó так уныло?

(целует мужа в лоб.)

Признайся, весело у Фамусовых было.

Платон Михайлович

Наташа-матушка, дремлю на бáлах я,
До них смертельный неохотник,
А не противлюсь, твой работник,
Дежурю за полночь, подчас
Тебе в угодность, как ни грустно,
Пускаюсь по команде в пляс.

---

[64] т. е. этажа. Ср. в одном из вариантов поэмы <«Езерский»> А. С. Пушкина: «В конуре пятого жилья...» (*Пушкин*. Полн.собр.соч. Л., 1948. Т. V. С. 388), а также в «Путешествии в Арзрум»: «Он повел меня по-узкой лестнице во второе жилье своего дома» (там же. Л., 1938. Т. VIII. С. 464).

Наталья Дмитриевна

Ты притворяешься, и очень неискусно;
Охота смертная прослыть за старика.

(Уходит с лакеем.)

Платон Михайлович

(хладнокровно)

Бал вещь хорошая, неволя-то горька;
И кто жениться нас неволит!
Ведь сказано ж, иному на роду...

Лакей

(с крыльца)

В карете барыня-с, и гневаться изволит.

Платон Михайлович

(со вздохом)

Иду, иду.

(Уезжает.)

Явление 3

Чацкий и Лакей его впереди.

Чацкий

Кричи, чтобы скорее подавали.

Лакей уходит.

Ну вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли.
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись! Пустое.
В повозке так-то на пути,
Необозримою равниной, сидя праздно,
Все что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый; вот резво́
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Все та же гладь, и степь, и пусто и мертво;
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.

Лакей возвращается.

Готово?

Лакей

Кучера-с нигде, вишь, не найдут.

Чацкий

Пошел, ищи, не ночевать же тут.

Лакей опять уходит.

Явление 4

Чацкий, Репетилов (вбегает с крыльца, при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется).

Репетилов

Тьфу! оплошал. — Ах, мой создатель!
Дай протереть глаза; откудова? приятель!..
Сердечный друг! Любезный друг! Mon cher![65]
Вот фарсы мне как часто были петы,
Что пустомеля я, что глуп, что суевер,
Что у меня на всё предчувствия, приметы;
Сейчас... растолковать прошу,
Как будто знал, сюда спешу,
Хвать, об порог задел ногою,
И растянулся во весь рост.
Пожалуй смейся надо мною,
Что Репетилов врет, что Репетилов прост,
А у меня к тебе влеченье, род недуга,
Любовь какая-то и страсть,
Готов я душу прозакласть,
Что в мире не найдешь себе такого друга,
Такого верного, ей-ей;
Пускай лишусь жены, детей,
Оставлен буду целым светом,
Пускай умру на месте этом,
И разразит меня господь...

Чацкий

Да полно вздор молоть.

Репетилов

Не любишь ты меня, естественное дело:
С другими я и так и сяк,
С тобою говорю несмело,
Я жалок, я смешон, я неуч, я дурак.

[65] Мой милый! (франц.).

Чацкий
Вот странное уничиженье!

Репетилов
Ругай меня, я сам кляну свое рожденье,
Когда подумаю, как время убивал!
Скажи, который час?

Чацкий
Час ехать спать ложиться;
Коли явился ты на бал,
Так можешь воротиться.

Репетилов
Что бал? братец, где мы всю ночь до бела дня,
В приличьях скованы, не вырвемся из ига,
Читал ли ты? есть книга...

Чацкий
А ты читал? задача для меня,
Ты Репетилов ли?

Репетилов
Зови меня вандалом:[66]
Я это имя заслужил.
Людьми пустыми дорожил!
Сам бредил целый век обедом или балом!
Об детях забывал! обманывал жену!
Играл! проигрывал! в опеку взят указом!
Танцовщицу держал! и не одну:
Трех разом!
Пил мертвую! не спал ночей по девяти!
Всё отвергал: законы! совесть! веру!

Чацкий
Послушай! ври, да знай же меру;
Есть от чего в отчаянье прийти.

[66] Вандалы — древнегерманское племя, разграбившее Рим в 450 г. В нарицательном смысле вандал — грубый, невежественный человек.

Репетилов
Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь
С умнейшими!! — Всю ночь не рыщу напролет.

Чацкий
Вот нынче например?

Репетилов
Что? ночь одна не в счет!
Зато спроси, где был?

Чацкий
И сам я догадаюсь,
Чай в клубе?

Репетилов
В Английском. Чтоб исповедь начать:
Из шумного я заседанья.
Пожалоста, молчи, я слово дал молчать.
У нас есть общество, и тайные собранья,
По четвергам. Секретнейший союз...

Чацкий
Ах! я, братец, боюсь.
Как? в клубе?

Репетилов
Именно.

Чацкий
Вот меры чрезвычайны,
Чтоб взáшеи прогнать и вас, и ваши тайны.

Репетилов
Напрасно страх тебя берет,
Вслух, громко говорим, никто не разберет.
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,[67]

[67] Камеры — палаты народных депутатов в конституционных государствах. О палатах депутатов, как и о введении в России суда присяжных, много говорили тогда в русском обществе, особенно в среде декабристов.

О Бейроне[68], ну о матерьях важных,
Частенько слушаю, не разжимая губ;
Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп.
Ах, Alexandre! у нас тебя недоставало;
Послушай, миленький, потешь меня хоть мало;
Поедем-ка сейчас; мы, благо, на ходу;
С какими я тебя сведу
Людьми!!! Уж на меня нисколько не похожи.
Что зá люди, mon cher! Сок умной молодежи!

Чацкий
Бог с ними и с тобой. Куда я поскачу?
Зачем? в глухую ночь? Домой, я спать хочу.

Репетилов
Э! брось! кто нынче спит? Ну, полно, без прелюдий,
Решись, а мы!.. у нас... решительные люди,
Горячих дюжина голов!
Кричим — подумаешь, что сотни голосов!..

Чацкий
Да из чего беснуетесь вы столько?

Репетилов
Шумим, братец, шумим...

Чацкий
Шумите вы? и только?

Репетилов
Не место объяснять теперь и недосуг,
Но государственное дело:
Оно, вот видишь, не созрело,
Нельзя же вдруг.
Что за люди! mon cher! Без дальних я историй
Скажу тебе: во-первых, князь Григорий!!
Чудак единственный! нас сó смеху морит!
Век с англичанами, вся áнглийская складка,
И так же он сквозь зубы говорит,

[68] Имя Байрона около 1823— 1824 гг. пользовалось в России большой популярностью как поэта вольнолюбивого и мятежного.

И так же коротко обстрижен для порядка.
Ты не знаком? о! познакомься с ним.
Другой — Воркулов Евдоким,
Ты не слыхал, как он поет? о! диво!
Послушай, милый, особливо
Есть у него любимое одно:
«А! нон лашьяр ми, но, но, но».[69]
Еще у нас два брата:
Левон и Боринька, чудесные ребята!
Об них не знаешь что сказать;
Но если гения прикажете назвать:
Удушьев Ипполит Маркелыч!!!
Ты сочинения его
Читал ли что-нибудь? хоть мелочь?
Прочти, братец, да он не пишет ничего;
Вот эдаких людей бы сечь-то,
И приговаривать: писать, писать, писать;
В журналах можешь ты однако отыскать
Его *отрывок*, *взгляд* и *нечто*.
Об чем бишь *нечто*? — обо всем;
Все знает, мы его на черный день пасем.
Но голова у нас, какой в России нету,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом.
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.[70]

---

[69] Ах, не покидай меня, нет, нет, нет (от итал. «A, non lasciur mi, no, no, no»). - Из популярной в то время оперы Б. Галуппи (1703— 1785), приглашенного Екатериной II в Россию, «Didona albandonata» («Покинутая Дидона»). Поставлена в Петербурге в 1766 г. (см.: *Лернер Н.* Пушкиноведческие этюды. — Звенья, кн. V. М.; Л., 1935. С. 105).

[70] В образе ночного разбойника, дуэлиста, вернувшегося алеутом, несомненно, обрисован Федор Иванович Толстой, прозванный «Американцем». Толстой служил в Преображенском полку, потом принял участие в кругосветном путешествии Крузенштерна, за столкновение с командиром был высажен на берег во владениях Российско-американской колонии, жил на Алеутских островах. Страстью его были дуэли и карточная игра. Будучи превосходным стрелком из пистолета и мастерски владея саблей, он сам насчитывал одиннадцать человек, убитых им на дуэлях. Намеки на Толстого-Американца в реплике Репетилова столь прозрачны, что не требуют особых подтверждений. Он сам признал свое тождество с грибоедовским образом. На списке «Горя от ума», принадлежавшем декабристу Ф.П. Шаховскому (Гос. Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва), против слов: «В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и крепко на руку нечист» — Толстой сделал собственноручные замечания и исправления. Он предлагал читать: «в Камчатку *чорт носил*» — «ибо сослан никогда не был»; «в *картишках* на руку нечист» — «для верности портрета сия поправка необходима, чтоб не подумали, что ворует табакерки со стола...»

Вот люди, есть ли им подобные? Навряд...
Ну, между ими я, конечно, зауряд,
Немножко поотстал, ленив, подумать ужас!
Однако ж я, когда, умишком понатужась,
Засяду, часу не сижу,
И как-то невзначай, вдруг каламбур рожу,
Другие у меня мысль эту же подцепят,
И вшестером, глядь, водевильчик слепят,
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают.
Брат, смейся, а что любо, любо:
Способностями бог меня не наградил,
Дал сердце доброе, вот чем я людям мил,
Совру — простят...

Лакей
(у подъезда)
Карета Скалозуба.

Репетилов
Чья?

Явление 5

Те же и Скалозуб, спускается с лестницы.
Репетилов
(к нему навстречу)
Ах! Скалозуб, душа моя,
Постой; куда же? сделай дружбу.
(Душит его в объятиях.)

Чацкий
Куда деваться мне от них!
(Входит в швейцарскую.)

Репетилов
(*Скалозубу)*
Слух об тебе давно затих,
Сказали, что ты в полк отправился на службу.
Знакомы вы?
(Ищет Чацкого глазами.)
Упрямец! ускакал!
Нет ну́жды, я тебя нечаянно сыскал,
И просим-ка со мной, сейчас без отговорок:
У князь-Григория теперь народу тьма,

Увидишь человек нас сорок,
Фу, сколько, братец, там ума!
Всю ночь толкуют, не наскучат,
Во-первых, напоят шампанским на убой,
А во-вторых, таким вещам научат,
Каких, конечно, нам не выдумать с тобой.

Скалозуб
Избавь. Ученостью меня не обморочишь;
Скликай других, а если хочешь,
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Волтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пикнете, так мигом успокоит.

Репетилов
Все служба на уме!
Mon cher, гляди сюда:
И я в чины бы лез, да неудачи встретил,
Как, может быть, никто и никогда,
По статской я служил, тогда
Барон фон Клоц в министры метил,
А я —К нему в зятья.
Шел напрямик без дальней думы,
С его женой и с ним пускался в реверси,[71]
Ему и ей какие суммы
Спустил, что боже упаси!
Он на Фонтанке жил, я возле дом построил,
С колоннами! огромный! сколько стоил!
Женился наконец на дочери его,
Приданого взял — шиш, по службе — ничего.
Тесть немец, а что проку?
Боялся, видишь, он упреку
За слабость будто бы к родне!
Боялся, прах его возьми, да легче ль мне?
Секретари его все хамы, все продажны,
Людишки, пишущая тварь,
Все вышли в знать, все нынче важны,

[71] *реверси* (франц. réversi) — карточная игра.

Гляди-ка в адрес-календарь.[72]
Тьфу! служба и чины, кресты — души мытарства,
Лахмотьев Алексей чудесно говорит,
Что радикальные потребны тут лекарства,
Желудок дольше не варит.

(Останавливается, увидя, что Загорецкий заступил место Скалозуба, который покудова уехал.)

Явление 6

Репетилов, Загорецкий.

Загорецкий

Извольте продолжать, вам искренно признаюсь,
Такой же я, как вы: ужасный либерал!
И от того, что прям и смело объясняюсь,
Куда как много потерял!..

Репетилов

(с досадой)

Все врознь, не говоря ни слова;
Чуть из виду один, гляди — уж нет другого.
Был Чацкий, вдруг исчез, потом и Скалозуб.

Загорецкий

Как думаете вы об Чацком?

Репетилов

Он не глуп,
Сейчас столкнулись мы, тут всякие турусы,
И дельный разговор зашел про водевиль.
Да! водевиль есть вещь, а прочее все гиль.
Мы с ним... у нас... одни и те же вкусы.

Загорецкий

А вы заметили, что он
В уме сурьезно поврежден?

Репетилов

Какая чепуха!

[72] *адрес-календарь* Под таким названием издавались календари-ежегодники с перечнем учреждений и должностных лиц (с указанием чина).

Загорецкий
Об нем все этой веры.

Репетилов
Вранье.

Загорецкий
Спросите всех.

Репетилов
Химеры.

Загорецкий
А кстати, вот князь Петр Ильич,
Княгиня и с княжнами.

Репетилов
Дичь.

Явление 7

Репетилов, Загорецкий, Князь и Княгиня с шестью дочерями, немного погодя Хлёстова спускается с парадной лестницы, Молчалин ведет ее под руку. Лакеи в суетах.

Загорецкий
Княжны, пожалуйте, скажите ваше мненье,
Безумный Чацкий или нет?

1-я княжна
Какое ж в этом есть сомненье?

2-я княжна
Про это знает целый свет.

3-я княжна
Дрянские, Хворовы, Варлянские, Скачковы.

4-я княжна
Ах! вести старые, кому они новы́?

5-я княжна
Кто сомневается?

Загорецкий
Да вот не верит...

6-я княжна
Вы!

Все вместе
Мсьё Репетилов! Вы! Мсье Репетилов, что вы!
Да как вы! Можно ль против всех!
Да почему вы? стыд и смех.

Репетилов
(затыкает себе уши)
Простите, я не знал, что это слишком гласно.

Княгиня
Еще не гласно бы, с ним говорить опасно,
Давно бы запереть пора,
Послушать, так его мизинец
Умнее всех, и даже князь-Петра!
Я думаю, он просто якобинец,[73]
Ваш Чацкий!!! Едемте. Князь, ты везти бы мог
Катишь или Зизи, мы сядем в шестиместной.

Хлёстова
(с лестницы)
Княгиня, карточный должок.

Княгиня
За мною, матушка.

Все
(друг к другу)
Прощайте.
Княжеская фамилия уезжает и Загорецкий тоже.

Явление 8

Репетилов, Хлёстова, Молчалин.

Репетилов
Царь небесный!
Амфиса Ниловна! Ах! Чацкий! бедный! вот!
Что́ наш высокий ум! и тысяча забот!
Скажите, из чего на свете мы хлопочем!

[73] *якобинец* — член Якобинского клуба, революционной организации времен французской революции конца XVIII в.; в нарицательном смысле — политический вольнодумец.

Хлёстова

Так бог ему судил; а впрочем,
Полечат, вылечат авось;
А ты, мой батюшка, неисцелим, хоть брось.
Изволил вовремя явиться!
Молчалин, вон чуланчик твой,
Не нужны проводы, поди, господь с тобой.

Молчалин уходит к себе в комнату.

Прощайте, батюшка; пора перебеситься.

(Уезжает.)

Явление 9

Репетилов с своим лакеем.

Репетилов

Куда теперь направить путь?
А дело уж идет к рассвету.
Поди, сажай меня в карету,
Вези куда-нибудь.

(Уезжает.)

Явление 10

Последняя лампа гаснет.

Чацкий

(выходит из швейцарской)

Что это? слышал ли моими я ушами!
Не смех, а явно злость. Какими чудесами?
Через какое колдовство
Нелепость обо мне все в голос повторяют!
И для иных как словно торжество,
Другие будто сострадают...
О! если б кто в людей проник:
Что хуже в них? душа или язык?
Чье это сочиненье!
Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют —
И вот общественное мненье!
И вот та родина... Нет, в нынешний приезд,
Я вижу, что она мне скоро надоест.
А Софья знает ли? Конечно, рассказали,
Она не то чтобы мне именно во вред
Потешилась, и правда или нет —
Ей все равно, другой ли, я ли,
Никем по совести она не дорожит.

Но этот обморок? беспамятство откуда??
Нерв избалованность, причуда —
Возбудит малость их и малость утишит...
Я признаком почел живых страстей. — Ни крошки:
Она, конечно бы, лишилась так же сил,
Когда бы кто-нибудь ступил
На хвост собачки или кошки.

София
(над лестницей во втором этаже, со свечкою)
Молчалин, вы?
(Поспешно опять дверь припирает.)

Чацкий
Она! она сама!
Ах! голова горит, вся кровь моя в волненьи.
Явилась! нет ее! неужели в виденьи?
Не впрямь ли я сошел с ума?
К необычайности я точно приготовлен;
Но не виденье тут,
свиданья час условлен.
К чему обманывать себя мне самого?
Звала Молчалина, вот комната его.

Лакей его
(с крыльца)
Каре...

Чацкий
Сс!..

(Выталкивает его вон.)
Буду здесь, и не смыкаю глазу,
Хоть до утра. Уж коли горе пить,
Так лучше сразу,
Чем медлить, — а беды медленьем не избыть.
Дверь отворяется.
(Прячется за колонну.)

Явление 11

Чацкий спрятан; Лиза со свечкой.

Лиза
Ах! мочи нет! робею!

В пустые сени! в ночь! боишься домовых,
Боишься и людей живых.
Мучительница-барышня, бог с нею.
И Чацкий, как бельмо в глазу;
Вишь, показался ей он где-то здесь внизу.
(Осматривается.)
Да! как же! по сеням бродить ему охота!
Он, чай, давно уж за ворота,
Любовь на завтра поберег,
Домой, и спать залег.
Однако велено к сердечному толкнуться.
(Стучится к Молчалину.)
Послушайте-с. Извольте-ка проснуться.
Вас кличет барышня, вас барышня зовет.
Да поскорей, чтоб не застали.

Явление 12

Чацкий за колонною, Лиза, Молчалин (потягивается и зевает), София (крадется сверху).

Лиза
Вы, сударь, камень, сударь, лед.

Молчалин
Ах! Лизанька, ты от себя ли?

Лиза
От барышни-с.

Молчалин
Кто б отгадал,
Что в этих щечках, в этих жилках
Любви еще румянец не играл!
Охота быть тебе лишь только на посылках?

Лиза
А вам, искателям невест,
Не нежиться и не зевать бы;
Пригож и мил, кто не доест
И не доспит до свадьбы.

Молчалин
Какая свадьба? с кем?

Лиза
А с барышней?

Молчалин
Поди,
Надежды много впереди,
Без свадьбы время проволочим.

Лиза
Что вы, судáрь! да мы кого ж
Себе в мужья другого прочим?

Молчалин
Не знаю. А меня так разбирает дрожь,
И при одной я мысли трушу,
Что Павел Афанасьич раз
Когда-нибудь поймает нас,
Разгонит, проклянёт!.. Да что? открыть ли душу?
Я в Софье Павловне не вижу ничего
Завидного. Дай бог ей век прожить богато,
Любила Чацкого когда-то,
Меня разлюбит, как его.
Мой ангельчик, желал бы вполовину
К ней то же чувствовать, что чувствую к тебе;
Да нет, как ни твержу себе,
Готовлюсь нежным быть, а свижусь — и простыну.

София *(в сторону)*
Какие низости!

Чацкий
(за колонною)
Подлец!

Лиза
И вам не совестно?

Молчалин
Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья;
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была.[74]

Лиза
Сказать, судáрь, у вас огромная опека!

Молчалин
И вот любовника я принимаю вид
В угодность дочери такого человека...

Лиза
Который кормит и поит,
А иногда и чином подарит?
Пойдемте же, довольно толковали.

Молчалин
Пойдем любовь делить плачевной нашей крали.
Дай обниму тебя от сердца полноты.
Лиза не дается.
Зачем она не ты!
(хочет идти, София не пускает.)

София
(почти шепотом; вся сцена вполголоса)
Нейдите далее, наслушалась я много,
Ужасный человек! себя я, стен стыжусь.

Молчалин
Как! Софья Павловна...

София
Ни слова, ради бога,
Молчите, я на все решусь.

Молчалин
(бросается на колена, София отталкивает его)
Ах! вспомните! не гневайтеся, взгляньте!..

[74] Ср. у А. Н. Радищева в «Житии Федора Васильевича Ушакова»: «Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели, нужна приязнь всех тех, кто, хотя мизинцем, до дела их касается; и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят» (Собрание оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева, ч. V. М., 1811. С. 15).

София
Не помню ничего, не докучайте мне.
Воспоминания! как острый нож оне.

Молчалин
(ползает у ног ее)
Помилуйте...

София
Не подличайте, встаньте.
Ответа не хочу, я знаю ваш ответ,
Солжете...

Молчалин
Сделайте мне милость...

София
Нет. Нет. Нет.

Молчалин
Шутил, и не сказал я ничего, окроме...

София
Отстаньте, говорю, сейчас,
Я криком разбужу всех в доме,
И погублю себя и вас.
Молчалин встает.
Я с этих пор вас будто не знавала.
Упреков, жалоб, слез моих
Не смейте ожидать, не стоите вы их;
Но чтобы в доме здесь заря вас не застала,
Чтоб никогда об вас я больше не слыхала.

Молчалин
Как вы прикажете.

София
Иначе расскажу
Всю правду батюшке, с досады.
Вы знаете, что я собой не дорожу.
Подите. — Стойте, будьте рады,
Что при свиданиях со мной в ночной тиши
Держались более вы робости во нраве,
Чем даже днем, и при людях, и в яве,

В вас меньше дерзости, чем кривизны души.
Сама довольна тем, что ночью все узнала,
Нет укоряющих свидетелей в глазах,
Как давиче, когда я в обморок упала.
Здесь Чацкий был...

Чацкий
(бросается между ними)
Он здесь, притворщица!

Лиза и София
Ах! Ах!..
Лиза свечку роняет с испугу; Молчалин скрывается к себе в комнату.

Явление 13

Те же, кроме Молчалина.
Чацкий
Скорее в обморок, теперь оно в порядке,
Важнее давишной причина есть тому,
Вот наконец решение загадке!
Вот я пожертвован кому!
Не знаю, как в себе я бешенство умерил!
Глядел, и видел, и не верил!
А милый, для кого забыт
И прежний друг, и женский страх и стыд, —
За двери прячется, боится быть в ответе.
Ах! как игру судьбы постичь?
Людей с душой гонительница, бич! —
Молчалины блаженствуют на свете!

София
(вся в слезах)
Не продолжайте, я виню себя кругом.
Но кто бы думать мог, чтоб был он так коварен!

Лиза
Стук! шум! ах! боже мой! сюда бежит весь дом.
Ваш батюшка, вот будет благодарен.

Явление 14

Чацкий, София, Лиза, Фамусов, толпа слуг со свечами.
Фамусов
Сюда! за мной! скорей! скорей!
Свечей побольше, фонарей!

Где домовые? Ба! знакомые всё лица!
Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать, ни взять она,
Как мать ее, покойница жена.
Бывало я с дражайшей половиной
Чуть врознь: — уж где-нибудь с мужчиной!
Побойся бога, как? чем он тебя прельстил?
Сама его безумным называла!
Нет! глупость на меня и слепота напала!
Все это заговор, и в заговоре был
Он сам, и гости все. За что я так наказан!..

Чацкий
(Софии)
Так этим вымыслом я вам еще обязан?

Фамусов
Брат, не финти, не дамся я в обман,
Хоть подеретесь, не поверю.
Ты, Филька, ты прямой чурбан,
В швейцары произвел ленивую тетерю,
Не знает ни про что, не чует ничего.
Где был? куда ты вышел?
Сеней не запер для чего?
И как не досмотрел? и как ты не дослышал?
В работу вас, на поселенье вас:[75]
За грош продать меня готовы.
Ты, быстроглазая, всё от твоих проказ;
Вот он. Кузнецкий мост, наряды и обновы;
Там выучилась ты любовников сводить,
Постой же, я тебя исправлю:
Изволь-ка в и́збу, марш, за птицами ходить;
Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю;
Еще дни два терпение возьми;
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми.
Подалее от этих хватов,
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
А вас, суда́рь, прошу я толком

[75] Указом 1765–1767 гг. Екатерина II подтвердила право поссылать непокорных крестьян на каторгу в Сибирь, по своему произволу. В 1802 г. Александр I отменил это право, но в 1822 г. оно было восстановлено.

Туда не жаловать ни прямо, ни проселком;
И ваша такова последняя черта,
Что, чай, ко всякому дверь будет заперта:
Я постараюсь, я, в набат я приударю,
По городу всему наделаю хлопот,
И оглашу во весь народ:
В Сенат подам, министрам, государю.

Чацкий
(после некоторого молчания)
Не образумлюсь... виноват,
И слушаю, не понимаю,
Как будто всё еще мне объяснить хотят,
Растерян мыслями... чего-то ожидаю.
(С жаром.)
Слепец! я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко.
Пред кем я давиче так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов!
А вы! О боже мой! кого себе избрали?
Когда подумаю, кого вы предпочли!
Зачем меня надеждой завлекли?
Зачем мне прямо не сказали,
Что все прошедшее вы обратили в смех?
Что память даже вам постыла
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.
Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно!
Сказали бы, что вам внезапный мой приезд,
Мой вид, мои слова, поступки — всё противно, —
Я с вами тотчас бы сношения пресек,
И перед тем, как навсегда расстаться,
Не стал бы очень добираться,
Кто этот вам любезный человек?..
(Насмешливо.)
Вы помиритесь с ним, по размышленьи зрелом.
Себя крушить, и для чего!
Подумайте, всегда вы можете его
Беречь, и пеленать, и спосылать за делом.
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей —
Высокий идеал московских всех мужей. —
Довольно!.. с вами я горжусь моим разрывом.
А вы, судáрь отец, вы, страстные к чинам:

Желаю вам дремать в неведеньи счастливом,
Я сватаньем моим не угрожаю вам.
Другой найдется благонравный,
Низкопоклонник и делец,
Достоинствами наконец
Он будущему тестю равный.
Так! отрезвился я сполна,
Мечтанья с глаз долой — и спала пелена;
Теперь не худо б было сряду
На дочь и на отца
И на любовника-глупца,
И на весь мир излить всю желчь и всю досаду.
С кем был! Куда меня закинула судьба!
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простяков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором, —
Безумным вы меня прославили всем хором.
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет.
Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок! —
Карету мне, карету! *(Уезжает.)*

Явление 15

Кроме Чацкого.

Фамусов

Ну что? не видишь ты, что он с ума сошел?
Скажи сурьезно:
Безумный! что он тут за чепуху молол!
Низкопоклонник! тесть! и про Москву так грозно!
А ты меня решилась уморить?
Моя судьба еще ли не плачевна?
Ах! Боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!

1812-1824 г.

Александр Сергеевич Пушкин

Стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю; прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

1829 г.

Стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…»

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828.[1]

[1] «Дар напрасный, дар случайный...». Дата в эпиграфе — день рождения Пушкина. Поэт назвал стихотворение в перечне произведений, предназначенных к печати, — «На день рождения».

Стихотворение «…Вновь я посетил…»

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною[2]
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,

---

[2] Написано 26 сентября 1835 г. в Михайловском, куда Пушкин приехал после восьмилетнего перерыва (если не считать четырехдневного пребывания в Михайловском в мае 1835 г.).

Уже старушки нет — няня Пушкина Арина Родионовна умерла в Петербурге 31 июля 1828 г.

Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал.
По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

1835 г.

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»[3]

Exegi monumentum[4]

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.[5]

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу[6]
И милость к падшим призывал.[7]

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

1836 г.

---

[3] Стихотворение написано на тему оды Горация «К Мельпомене» (XXX ода книги III), откуда взят и эпиграф. Эту же оду Горация перевел Ломоносов; ей подражал Державин в своем стихотворении «Памятник».

[4] Я воздвиг памятник *(лат.).*

[5] *Александрийский столп* — Александровская колонна, памятник Александру I в Петербурге на Дворцовой площади; Пушкин «выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, моими товарищами» (запись в дневнике 28 ноября 1834 г.; см. т. 7). Причина была, конечно, глубже — Пушкин не желал участвовать в прославлении Александра I.

[6] *Восславил я Свободу* — имеется в виду вольнолюбивая лирика Пушкина.

[7] *Милость к падшим призывал* — Пушкин говорит о своих «Стансах» («В надежде славы и добра...»), о стихотворении «Друзьям», о «Пире Петра I», может быть о «Герое», — тех стихотворениях, в которых он призывал Николая I вернуть с каторги декабристов.

Стихотворение «К Чаадаеву»[8]

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

1818 г.

[8] *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) — русский писатель и философ; офицер; близкий друг Пушкина. С 1821 г. — член тайного декабристского общества Союз благоденствия. Впоследствии, в период реакции, наступившей после разгрома декабристов, он перешел на позиции просветительства, осудив революционные методы борьбы.

Стихотворение было напечатано в сильно искаженном виде без согласия Пушкина в альманахе «Северная звезда» 1829 г. издателем альманаха М. А. Бестужевым-Рюминым. Стихи «Товарищ, верь...» и следующие — выпущены. Датировку стихотворения нельзя считать окончательно установленной.

Стихотворение «В Сибирь»[9]

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

1827 г.

[9] «Во глубине сибирских руд...». - Послание декабристам, сосланным в Сибирь на каторгу. Очень многих из них Пушкин знал лично. Двое — Пущин и Кюхельбекер — были его лицейскими товарищами. В словах «Храните гордое терпенье» они могли услышать отзвук лицейской «Прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея» Дельвига, исполнявшейся лицеистами хором на акте по случаю первого выпуска. В песне были такие слова:

Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде — да, неправде — нет,
В несчастье гордое терпенье,
И в счастье — всем равно привет!

Свое послание декабристам Пушкин вручил жене одного из них, А. Г. Муравьевой, уезжавшей из Москвы в начале января 1827 г. к мужу — Никите Муравьеву — в Сибирь.

Стихотворение «19 октября»[10]

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.

Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Он не пришел, кудрявый наш певец,[11]
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.

[10] 19 октября — день основания лицея, постоянно отмечавшийся лицеистами первого выпуска.
[11] Корсаков, Николай Александрович, композитор, умерший 26 сентября 1820 г. во Флоренции.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?[12]
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:

---

[12] Матюшкин, Федор Федорович (1799—1872), моряк; он был в это время уже в третьем плаванье, кругосветном.

Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;[13]
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.

Ты, Горчаков,[14] счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой:[15] твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...

---

[13] Пущин приезжал к Пушкину в Михайловское на один день, 11 января 1825 г. Он рассказал позднее об этом посещении в своих «Записках о Пушкине».

[14] А. М. Горчаков встретился с Пушкиным у своего дяди, А. Н. Пещурова, в имении Лямоново, недалеко от Михайловского, летом 1825 г.

[15] Дельвиг гостил у Пушкина в Михайловском в апреле 1825 г.

Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм,[16] не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Полней, полней! и, сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.

Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

---

[16] Кюхельбекер.

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому <ж> из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг![17] средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

1825 г.

[17] пережил всех товарищей по выпуску А. М. Горчаков, умерший 84 лет.

Стихотворение «Мадона»[18]

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —

Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

1830 г.

Стихотворение «Я Вас любил...»

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

1829 г.

[18] Обращено к невесте, Н. Н. Гончаровой. Та же картина («Мадонна» итальянского мастера, приписывавшаяся Рафаэлю и продававшаяся в Петербурге) упоминается в письме Пушкина от 30 июля 1830 г. к невесте: «Часами простаиваю перед белокурой мадоной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40000 рублей» (подлинник на французском языке; см. т. 9)

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье...»[19]

*К * * **

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

1825 г.

---

[19] К *** («Я помню чудное мгновенье...»). Керн, Анна Петровна (1800—1879) — племянница соседки Пушкина П. А. Осиповой. Гостила летом 1825 г. в Тригорском. В первой строфе поэт вспоминает первую встречу с ней, в 1819 г., в Петербурге, в доме Олениных. Керн писала о том, как Пушкин передал ей эти стихи в день ее отъезда из Тригорского. «Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр 2-й главы «Онегина»[1]), в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами: «Я помню чудное мгновенье» и проч. и проч. Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове — не знаю» («Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», Л. 1936, стр. 326).

Стихотворение «На холмах Грузии…»[20]

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

1829 г.

[20] Пушкин сопровождал стихотворение в печати заглавием (или подзаголовком) «Отрывок». Стихи датированы в рукописи 15 мая; они написаны в Георгиевске, на Северном Кавказе; холмы Грузии и Арагва внесены в текст позднее.

Стихотворение обращено к М. Н. Волконской, с которой поэт общался на Северном Кавказе в 1820 г.

В. Ф. Вяземская летом 1830 г. переслала стихотворение (в таком виде, в каком оно было вскоре напечатано) в Сибирь М. Н. Волконской, которой она, со слов Пушкина, сообщила, что стихи обращены к его невесте, Н. Н. Гончаровой. Волконская не усомнилась в этом утверждении. Некоторые исследователи также приняли утверждение Вяземской, хотя ему противоречат слова: «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь» и один из вариантов: «Я снова юн и твой», они не могли быть обращены к шестнадцатилетней Гончаровой, с которой Пушкин познакомился только в 1828 г.

Стихотворение «Пророк»[21]

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

1826 г.

[21] В образе пророка, как и в «Подражаниях Корану» Пушкин разумел поэта. Картина, изображенная Пушкиным, в нескольких мелких деталях восходит к VI главе Книги Исаии в библии (шестикрылый Серафим с горящим углем в руке).

Стихотворение «Поэт»[22]

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

1827 г.

[22] Написано 15 августа 1827 г. в Михайловском, куда Пушкин приехал после полугодового отсутствия.

Стихотворение «Поэт и толпа»

Procul este, profani. [23]

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

Поэт.
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Чернь.
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;

[23] Прочь, непосвященные *(лат.)* - Восклицание жреца <в действительности это слова Кумской Сивиллы, жрицы и пророчицы.> из 6-й песни «Энеиды» Вергилия.

Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Поэт.
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

1828 г.

Роман «Евгений Онегин»

Роман в стихах

Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité peut-être imaginaire.
Tiré d'une lettre particulière.[24]

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

[24] Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого. *Из частного письма (франц.).*

Глава первая

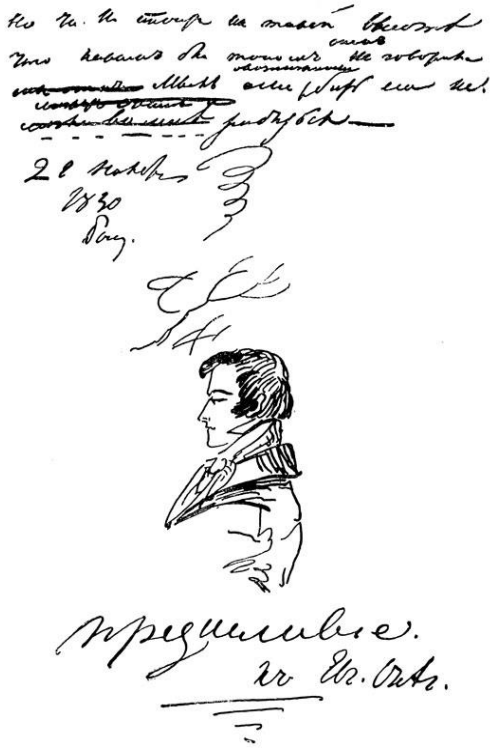
И жить торопится и чувствовать спешит.
Кн. Вяземский.

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня[25].



Предполагаемый портрет Евгения Онегина. Рисунок А.С. Пушкина. 1830

[25] Писано в Бессарабии.

III

Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва *Madame* за ним ходила,
Потом *Monsieur* ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как dandy[26]лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

V

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)

[26] Dandy, франт.

Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить *vale*[27],
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды[28] два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

VII

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита[29]
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,

[27] будь здоров *(лат.)*.
[28] *«Энеида»* — эпическая поэма римского поэта Вергилия (I в. до н. э.).
[29] английский буржуазный экономист XVIII в., считал, что деньги (золото) —мертвый капитал

Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень, —
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон[30],
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

IX

. . . . . .
. . . . . .

X

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,

[30] *Назон* — римский поэт Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), автор поэмы «Искусство любви» (см. прим. Пушкина к строфе VIII в первом издании первой главы «Евгения Онегина» — раздел «Из ранних редакций», стр. 452).

Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!

XI

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья...
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!

XII

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа[31] давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

XIII–XIV

. . . . . .
. . . . . .

[31] *Фоблас* — герой ряда романов французского писателя XVIII в. Луве де Кувре; развращенный молодой дворянин.

XV

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар[32],
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет[33]
Не прозвонит ему обед.

XVI

Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К *Talon*[34] помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы[35] брызнул ток;
Пред ним *roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

XVII

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,

[32] Шляпа à la Bolivar.

[33] *Брегет* —карманные часы с боем (по имени французского часовщика Брегета).

[34] Известный ресторатор.

[35] *Вино кометы* — славившееся тогда шампанское урожая 1811 г.; на пробках, которыми оно закупоривалось, было изображение кометы, появившейся в этом году.

Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать entrechat[36],
Обшикать Федру[37], Клеопатру[38],
Моину[39] вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

XVIII

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин[40];
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой[41] делил;
Там наш Катенин воскресил[42]
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

XIX

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?

---

[36] прыжок (франц.).

[37] *Федра* — героиня одноименной трагедии Расина

[38] *Клеопатра* — вероятно, героиня какой-то, точно не установленной, переводной пьесы.

[39] *Моина* — героиня трагедии В. А. Озерова «Фингал».

[40] *Я. Б. Княжнин* (1742—1791), автор многочисленных трагедий и комедий, в большинстве своем переделок с французского.

[41] *Е. С. Семенова (1786—1849)* — знаменитая трагическая актриса, дочь крепостной. Играла в трагедиях Озерова. Пушкин дал ей восторженную характеристику в статье «Мои замечания о русском театре» (1820).

[42] на петербургской сцене была поставлена в 1822 г. трагедия Корнеля «Сид» в переводе П. А. Катенина.

Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?

XX

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI

Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился — и зевнул,
И молвил: «Всех пора на смену;

Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел»[43].

XXII

Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони —
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

XXIII

Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный[44]
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, —
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

[43] Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе.

[44] *Щепетильный* — здесь в старинном значении: торгующий галантерейными товарами.

XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом[45].
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

XXV

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев[46], мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

---

[45] Все знали, что он употребляет белила; и я, совершенно этому не веривший, начал догадываться о том не только по улучшению цвета его лица или потому, что находил баночки из-под белил на его туалете, но потому, что, зайдя однажды утром к нему в комнату, я застал его за чисткой ногтей при помощи специальной щеточки; это занятие он гордо продолжал в моем присутствии. Я решил, что человек, который каждое утро проводит два часа за чисткой ногтей, может потратить несколько минут, чтобы замазать белилами недостатки кожи.

(«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо) (франц.)

Грим опередил свой век: ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенной щеточкой.

[46] По воспоминаниям современника, «искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения» (М. Жихарев, П. Я. Чаадаев. Из воспоминаний современника, «Вестник Европы», 1871, № 7, стр. 183).

XXVI

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь[47].

XXVII

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

XXVIII

Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,

[47] *Академический словарь* — «Словарь Академии российской», СПб. 1806—1822, в котором отсутствовали иностранные слова.

Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.

XXIX

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

XXX

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI

Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем

Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

XXXIV

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь!..
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

XXXV

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

XXXVI

Но, шумом бала утомленный
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной

Забав и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра.
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold*[48], угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;

[48] *Child-Harold* — герой поэмы Байрона «Странствования Чайльд-Гарольда».

Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

XXXIX. XL. XLI

. . . . . .
. . . . . .

XLII

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он;
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея[49] и Бентама[50],
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор;
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин[51].

XLIII

И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой,
И вас покинул мой Евгений.
Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный

[49] *Сей* (1767—1832) — французский экономист, последователь Адама Смита, автор «Курса политической экономии».

[50] *Бентам* (1748—1832) — английский писатель-правовед. Оба были популярны среди декабристов.

[51] Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Лудовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностию и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестию, столь пленившей г-жу Сталь. (См. *Dix années d'exil*.)

Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

XLIV

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

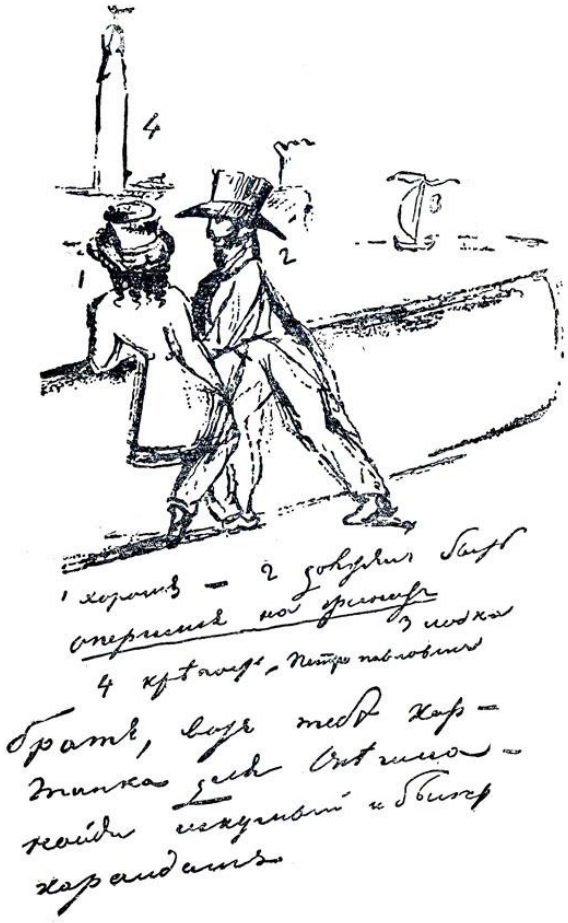
XLV

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит

Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.



«Евгений Онегин». Иллюстрация к строфе XLVIII главы первой. Рисунок Пушкина. 1824 г.

XLVII

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

XLVIII

С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит[52].
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые,

[52] Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.
(Муравьев. Богине Невы)

Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной[53] раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав[54]!

XLIX

Адриатические волны,
О Брента[55]! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона[56]
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки[57] и любви.

L

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем[58], жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?

---

[53] *С Мильонной* — улица в Петербурге, параллельная набережной Невы (ныне улица Халтурина).

[54] *Напев Торкватовых октав* — стихи из написанной восьмистишными строфами — октавами — поэмы Торкварто Тассо «Освобожденный Иерусалим» пели венецианские гондольеры.

[55] *Брента* — река, впадающая в Адриатическое море; близ ее устья расположена Венеция.

[56] *По гордой лире Альбиона* — имеется в виду описание Венеции в IV песне «Странствований Чайльд-Гарольда» Байрона.

[57] *Петрарка* (1304—1374) — итальянский поэт, воспевавший свою возлюбленную Лауру. Пушкин упоминает Петрарку также в строфе LVIII первой главы.

[58] Писано в Одессе.

Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгой срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалека
Кончину дяди старика.

LII

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал[59]
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань готовую земле.

[59] *По почте поскакал* — то же, что на почтовых, то есть в экипаже на наемных лошадях.

LIII

Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин — сельский житель,
Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель
Порядка враг и расточитель,
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.

LIV

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,

И far niente[60] мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

LVII

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор[61], мой идеал,
И пленниц берегов Салгира[62].
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:

[60] безделье, праздность *(итал.).*
[61] *Деву гор* — черкешенку в «Кавказском пленнике».
[62] *пленниц берегов Салгира* — Марию и Зарему в «Бахчисарайском фонтане».

«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?

LVIII

Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей-богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

LIX

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я всё грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.

LX

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все это строго:

Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!

Глава вторая

O rus!..
Hor.[63]
О Русь!

I

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

II

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Все это ныне обветшало,
Не знаю, право, почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

[63] О деревня!.. *Гораций (лат.).*

III

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил;
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;

Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все да да *нет*; не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал:
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской[64],
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

VII

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.

[64] *С душою прямо геттингенской.* — Пушкин подчеркивает вольнолюбие Ленского: в немецком городе Геттингене находился университет, в котором учились многие передовые русские люди того времени — лицейский учитель Пушкина А. П. Куницын, приятель Пушкина, член Союза благоденствия П. П. Каверин, декабрист Н. И. Тургенев.

VIII

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

IX

Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем;
И муз возвышенных искусства,
Счастливец, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И *нечто*, и *туманну* даль,
И романтические розы;

Он пел те дальные страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

XI

В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.

XII

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За *полурусского соседа*;
Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;

«Евгений Онегин». Рисунки Пушкина на полях рукописи, строфы XI-XII главы второй. 1823 г.

Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..[65]

[65] Из первой части Днепровской русалки.

XIII

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья.

XIV

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, —
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.

XV

Он слушал Ленского с улыбкой.
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор, —
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;

И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.

XVI

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм,
И снисходительный Евгений,
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

XVII

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья:
Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь — разлукой,
Вражду — злословием; порой
Зевал с друзьями и с женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял.

XVIII

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны

Их своевольство иль порывы
И запоздалые отзывы, —
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

XIX

Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать.
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаясь инвалидом,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

XX

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем.

XXI

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседы, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

XXII

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

XXIII

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно

Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV

Ее сестра звалась Татьяна...[66]
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.

Татьяна. Рисунок А.С. Пушкина

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

[66] Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами.

XXVI

Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется шутя
К приличию — закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

XXVII

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

XXVIII

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,

И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.

XXIX

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.

XXX

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;[67]
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еще жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

[67] *Грандисон* и *Ловлас* — добродетельный и порочный герои романов английского писателя Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» и «Грандисон».

XXXI

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она[68].

XXXII

Привычка усладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

XXXIII

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,

[68] Si j'avais la folie de croire encore au bonheur, je le chercherais dans l'habitude (Шатобриан). - Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я бы искал его в привычке *(франц.).*

И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

XXXIV

Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.

XXXV

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни[69], хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,

[69] *Подблюдны песни* — старинные народные песни, которые пели девушки, гадая о своем будущем и вынимая из блюда с водой, закрытого платком, опущенные туда кольца: чье кольцо вынется, к тому и относится пропетая песня.

Умильно на пучок зари[70]
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам.

XXXVI

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

XXXVII

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorick![71] — молвил он уныло. —
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью[72]!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?..»

---

[70] *Заря,* или зоря, — название травы. По записи в дневнике цензора И. М. Снегирева, Пушкин сказал ему, что «в некоторых местах обычай троицкими цветами обметать гробы родителей, чтобы прочистить им глаза» («Пушкин и его современники», вып. XVI, стр. 47).

[71] *«Poor Jorick».* — В примечании (см. стр. 180) Пушкин сослался не только на Шекспира, но и на английского писателя Стерна. Один из персонажей его «Сентиментального путешествия» спутал пастора Иорика (героя этого произведения Стерна) с шутом датского короля Иориком, к черепу которого обращается Гамлет в своем монологе на кладбище в трагедии Шекспира. Это бросает иронический свет на восклицание Ленского.

[72] *Очаковская медаль* — медаль, полученная за участие во взятии турецкой крепости Очаков в 1788 г.

И, полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.

XXXVIII

И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный...
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),

Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

Глава третья

Elle était fille, elle était amoureuse.
Malfilâtre[73].

I

«Куда? Уж эти мне поэты!»
— Прощай, Онегин, мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
— У Лариных. — «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»
— Нимало. — «Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых (слушай, прав ли я?),
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор...»

II

— Я тут еще беды не вижу.
«Да скука, вот беда, мой друг».
— Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу... — «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera[74]?..
Представь меня». — Ты шутишь. — «Нету».
— Я рад. — «Когда же?» — Хоть сейчас.
Они с охотой примут нас.

---

[73] она была девушка, она была влюблена. *Мальфилатр (франц.).*

[74] и так далее*(лат.).*

III

Поедем. —
Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.

IV

Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор[75].
Теперь подслушаем украдкой
Героев наших разговор:
— Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. —
«Привычка, Ленский». — Но скучаешь
Ты как-то больше. — «Нет, равно.
Однако в поле уж темно;
Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка;
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.

V

Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана[76],
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблен в меньшую?»

---

[75] В прежнем издании, вместо *домой летят*, было ошибкою напечатано *зимой летят* (что не имело никакого смысла). Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю.

[76] *Светлана* — героиня одноименной баллады В. А. Жуковского. У Жуковского:

Тускло светится луна
В сумерках тумана.
Молчалива и грустна
Милая Светлана.

— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне[77]:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

VI

Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой.
Все стали толковать украдкой,
Шутить, судить не без греха,
Татьяне прочить жениха;
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.
О свадьбе Ленского давно
У них уж было решено.

VII

Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком
С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;

[77] *В Вандиковой Мадоне* — вероятно, имеется в виду картина выдающегося фламандского художника Ван-Дейка (1599—1641) — «Мадонна с куропатками», находившаяся в Эрмитаже.

Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,

VIII

И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Все полно им; все деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нем. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она
И проклинает их досуги,
Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

IX

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар[78],
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон[79],
Который нам наводит сон, —
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

[78] *Любовник Юлии Вольмар* — Сен-Прё, возлюбленный героини романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» (1761).

[79] Юлия Вольмар — Новая Элоиза. Малек-Адель — герой посредственного романа M-me Cottin. Густав де Линар — герой прелестной повести баронессы Крюднер.

X

Воображаясь героиной
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной[80],
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

XI

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

XII

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы

[80] *Клариссой, Юлией, Дельфиной* — героини романов Ричардсона «Кларисса Гарлоу», Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза», г-жи де Сталь «Дельфина».

Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный жид, или Корсар[81],
Или таинственный Сбогар[82].
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

XIII

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

XIV

Перескажу простые речи
Отца иль дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...
Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,

[81] *Корсар* — герой поэмы Байрона «Корсар», морской разбойник.

[82] Вампир — повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. Мельмот — гениальное произведение Матюрина. Jean Sbogar — известный роман Карла Нодье.

Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

XV

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искуситель роковой.

XVI

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

XVII

«Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне».
— Что, Таня, что с тобой? — «Мне скучно,
Поговорим о старине».

— О чем же, Таня? Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче все мне тёмно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло... — «Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»

XVIII

— И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь. —
«Да как же ты венчалась, няня?»
— Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели.

XIX

И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня... —
«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..»
— Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь... — «Я не больна:
Я... знаешь, няня... влюблена».
— Дитя мое, господь с тобою! —
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

XX

«Я влюблена», — шептала снова
Старушке с горестью она.
— Сердечный друг, ты нездорова.
«Оставь меня: я влюблена».
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распущенные власы,
И капли слез, и на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке;
И все дремало в тишине
При вдохновительной луне.

XXI

И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
Вдруг мысль в уме ее родилась...
«Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мне перо, бумагу,
Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости». И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет,
И все Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышит.
Письмо готово, сложено...
Татьяна! для кого ж оно?

XXII

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:

Оставь надежду навсегда[83].
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на брегах Невы
Подобных дам видали вы.

XXIII

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым повеленьем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь
По крайней мере сожаленьем,
По крайней мере звук речей
Казался иногда нежней,
И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежал за милой суетой.

XXIV

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

[83] строка из первой части «Божественной комедии» («Ад») Данте, надпись над входом в ад.

XXV

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

XXVI

Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

XXVII

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить

С «Благонамеренным»[84] в руках!
Я шлюсь на вас, мои поэты;
Не правда ль: милые предметы,
Которым, за свои грехи,
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

XXVIII

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье;
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

XXIX

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет

---

[84] *«Благонамеренный»* — журнал, издававшийся 1818—1826 гг. А. Е. Измайловым (1779—1831). О нем писал А. Ф. Воейков в своем «Доме сумасшедших» (1814):

Вот Измайлов — автор басен,
Рассуждении, эпиграмм,
Он пищит мне: «Я согласен,
Я писатель не для дам!
Мой предмет: носы с прыщами,
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями...
Мир квартальных — вот мой мир».

Произведут в груди моей;
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича[85] стихи.
Но полно. Мне пора заняться
Письмом красавицы моей;
Я слово дал, и что ж? ей-ей
Теперь готов уж отказаться.
Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни.

XXX

Певец Пиров и грусти томной[86],
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

XXXI

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор,

[85] Имеется в виду поэма И.Ф. Богдановича (1743—1803) «Душенька».

[86] *Певец пиров и грусти томной* — Е. А. Баратынский, автор поэмы «Пиры» и многочисленных элегий. Пушкин считал Баратынского одним из лучших русских поэтов (см., например, статью «Баратынский» — т. 6<*«Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов...» — В.Л.*>). В это время Баратынский служил солдатом в Финляндии.

И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный
Или разыгранный Фрейшиц[87]
Перстами робких учениц:

Письмо Татьяны к Онегину

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Рисунок Пушкина на полях черновой рукописи (письмо Татьяны). 1824 г.

[87] *«Фрейшитц»* («Der Freischütz») — опера немецкого композитора Вебера «Вольный стрелок» (1821).

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором

Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!
Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...

XXXII

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке;
Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке.
К плечу головушкой склонилась,
Сорочка легкая спустилась
С ее прелестного плеча...
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро: встали все давно,
Моей Татьяне все равно.

Рисунок Пушкина на полях черновой рукописи (письмо Татьяны). 1824 г.

XXXIII

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филипьевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет,
Лицо твое как маков цвет».

XXXIV

— Ах! няня, сделай одолженье. —
«Изволь, родная, прикажи».
— Не думай... право... подозренье...
Но видишь... ах! не откажи. —
«Мой друг, вот бог тебе порука».
— Итак, пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...
К соседу... да велеть ему,
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня... —
«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть;
Куда мне их и перечесть».

XXXV

— Как недогадлива ты, няня! —
«Сердечный друг, уж я стара,
Стара; тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра,
Бывало, слово барской воли...»
— Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоем уме?
Ты видишь, дело о письме
К Онегину. — «Ну, дело, дело.
Не гневайся, душа моя,
Ты знаешь, непонятна я...
Да что ж ты снова побледнела?»
— Так, няня, право ничего.
Пошли же внука своего.

XXXVI

Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: все нет как нет.
Бледна, как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?
Приехал Ольгин обожатель.
«Скажите: где же ваш приятель? —
Ему вопрос хозяйки был. —
Он что-то нас совсем забыл».
Татьяна, вспыхнув, задрожала.

— Сегодня быть он обещал, —
Старушке Ленский отвечал, —
Да, видно, почта задержала. —
Татьяна потупила взор,
Как будто слыша злой укор.

XXXVII

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;
Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель *О* да *Е*.

XXXVIII

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью.
И, задыхаясь, на скамью

XXXIX

Упала...
«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»

В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон;
Она дрожит и жаром пышет,
И ждет: нейдет ли? Но не слышит.
В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоду в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!)

Песня девушек

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь девицы,
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,
Заманите молодца
К хороводу нашему,
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.

XL

Они поют, и, с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...

Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.

XLI

Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею, прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилася она.
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.

Глава четвертая

La morale est dans la nature des choses.
Necker[88].

I. II. III. IV. V. VI.

VII

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.

VIII

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольцы, слезы,
Надзоры теток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений

[88] Нравственность в природе вещей. *Неккер (франц.).*

И необузданных страстей.
Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет.

X

В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут — мигом утешался;
Изменят — рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На *вист* вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

XI

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

XII

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, —
То, верно б, кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блесток мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

XIV

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,

Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.

XV

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

XVI

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так видно небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».

XVII

Так проповедовал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, машинально)
Татьяна молча оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вкруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то.
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

XVIII

Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель;
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.

XIX

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы[89],

[89] *Клеветы // На чердаке вралем рожденной...* — Враль — Ф. И. Толстой; «чердак» — место встреч петербургской молодежи у кн. Шаховского. См. прим. к эпиграмме «В жизни мрачной и презренной...» — т. 1, стр. 575, а также письмо к П. А. Вяземскому от 1 сентября 1822 г. — т. 9.

На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

XX

Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!

Автопортрет Пушкина на полях рукописи. 1826 г.

XXI

Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:
Над нею и средь бурь мятежных
Вы сохраняете права.
Конечно так. Но вихорь моды,
Но своенравие природы,
Но мненья светского поток...
А милый пол, как пух, легок.
К тому ж и мнения супруга
Для добродетельной жены
Всегда почтенны быть должны;
Так ваша верная подруга
Бывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана.

XXII

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.

XXIII

Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит;
Ее постели сон бежит;
Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало все, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

XXIV

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье

Картиной счастливой любви.
Невольно, милые мои,
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!

XXV

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.
Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое;
Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой;
И что ж? Любовью упоенный,
В смятенье нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.

XXVI

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан,
А между тем две, три страницы
(Пустые бредни, небылицы,
Опасные для сердца дев)
Он пропускает, покраснев.
Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.

XXVII

Поедет ли домой, и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома

Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм Киприды,
Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья
Пониже подписи других
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Все тот же после многих лет.

XXVIII

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры[90], по преданью
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'écrirez-vous sur ces tablettes,
И подпись: *t. à v. Annette*;[91]
А на последнем прочитаешь:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».

XXIX

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,

[90] *Стихи без меры* — без соблюдения стихотворного размера.
[91] Что вы напишите на этих листах... Вся ваша Аннета *(франц.).*

Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

XXX

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной[92]
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

XXXI

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И, полны истины живой,
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь бог ведает кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

---

[92] *Толстого кистью чудотворной* — Пушкин высоко ценил работы художника, гравера, медальера Ф. П. Толстого. О «волшебной кисти» Толстого он говорит и в письме к брату и П. А. Плетневу от 15 марта 1825 г.

XXXII

Но тише! Слышишь? Критик строгий[93]
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий,
И нашей братье рифмачам
Кричит: «Да перестаньте плакать,
И всё одно и то же квакать,
Жалеть о прежнем, о былом:
Довольно, пойте о другом!»
— Ты прав, и верно нам укажешь
Трубу, личину и кинжал[94],
И мыслей мертвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? — Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,

XXXIII

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»
— Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не все ль равно?
Припомни, что сказал сатирик![95]
«Чужого толка» хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей? —
«Но всё в элегии ничтожно;
Пустая цель ее жалка;
Меж тем цель оды высока
И благородна...» Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу:
Два века ссорить не хочу.

---

[93] *...критик строгий* — имеется в виду В. К. Кюхельбекер, призывавший в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической» (опубликована в альманахе «Мнемозина», 1824, кн. II) вернуться от «унылых» элегий к одному из основных стихотворных жанров XVIII в. — оде.

[94] *Труба, личина и кинжал* — эмблемы трагедии.

[95] И. И. Дмитриев, высмеявший в сатире «Чужой толк» (1795) хитрого лирика — поэта-одописца конца XVIII в., писавшего свои хвалебные оды с целью приобрести благосклонность сильных мира сего.

XXXIV

Поклонник славы и свободы,
В волненье бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрям, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.

XXXV

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

XXXVI. XXXVII

А что ж Онегин? Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятья
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом:
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,

Сей Геллеспонт переплывал[96],
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

XXXVIII. XXXIX

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город, и друзей,
И скуку праздничных затей.

XL

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

[96] *Певцу Гюльнары подражая, // сей Геллеспонт переплывал.* Гюльнара — героиня поэмы Байрона «Корсар». Во время путешествия на Восток Байрон переплыл Дарданеллы — пролив между Мраморным и Средиземным морями, который в древности назывался Геллеспонт.

XLI

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева[97]
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

XLII

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы *розы*;
На, вот возьми ее скорей!)
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ[98]
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.

XLIII

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой.

---

[97] В журналах удивлялись, как можно было назвать *девою* простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы *девчонками!*

[98] «Это значит, — замечает один из наших критиков, — что мальчишки катаются на коньках». Справедливо.

Скакать верхом в степи суровой?
Но конь, притупленной подковой
Неверный зацепляя лед,
Того и жди, что упадет.
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт[99], вот W. Scott.
Не хочешь? — поверяй расход,
Сердись иль пей, и вечер длинный
Кой-как пройдет, а завтра тож,
И славно зиму проведешь.

XLIV

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Настанет вечер деревенский:
Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей;
Давай обедать поскорей!

XLV

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной;[100]

---

[99] *Прадт,* аббат — французский публицист, придворный священник Наполеона, автор политических брошюр и мемуаров.

[100] В лета красные мои
Поэтический аи
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви
Или юности безумной, и проч.
(Послание к Л. П.)

Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток и стихов,
И споров, и веселых снов!

XLVI

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я *Бордо* благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К *Аи* я больше не способен;
Аи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, *Бордо*, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ завсегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует *Бордо*, наш друг!

XLVII

Огонь потух; едва золою
Подернут уголь золотой;
Едва заметною струею
Вается пар, и теплотой
Камин чуть дышит. Дым из трубок
В трубу уходит. Светлый кубок
Еще шипит среди стола.
Вечерняя находит мгла...
(Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки[101],
А почему, не вижу я.)
Теперь беседуют друзья:

[101] *Пора меж волка и собаки* — французское выражение, обозначающее вечерние сумерки.

XLVIII

«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»
— Налей еще мне полстакана...
Довольно, милый... Вся семья
Здорова; кланяться велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!... Когда-нибудь
Заедем к ним; ты их обяжешь;
А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Да вот... какой же я болван!
Ты к ним на той неделе зван.

XLIX

«Я?» — Да, Татьяны именины
В субботу. Оленька и мать
Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать. —
«Но куча будет там народу
И всякого такого сброду...»
— И, никого, уверен я!
Кто будет там? своя семья.
Поедем, сделай одолженье!
Ну, что ж? — «Согласен». — Как ты мил! —
При сих словах он осушил
Стакан, соседке приношенье,
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!

L

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок.
И тайна брачныя постели,
И сладостной любви венок
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,

В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена... [102]
Мой бедный Ленский, сердцем он
Для оной жизни был рожден.

LI

Он был любим... по крайней мере
Так думал он, и был счастлив.
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок;
Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

[102] Август Лафонтен, автор множества семейственных романов.

Глава пятая

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!
Жуковский.

I

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.

II

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

III

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,

Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;[103]
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой![104]

IV

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иний в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.

V

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был,

[103] Смотри «Первый снег», стихотворение князя Вяземского.
[104] См. описания финляндской зимы в «Эде» Баратынского.

Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,

VI

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалася, — тогда
В смятенье Таня торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

VII

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потеряв невозвратимо;
И все равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.

VIII

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,

Выходят кольцы чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро;
Кому поем, тому добро
И слава!» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей *кошурка* сердцу дев[105].

IX

Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкой двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Чу... снег хрустит... прохожий; дева
К нему на цыпочках летит,
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя?[106] Смотрит он
И отвечает: Агафон.

X

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый

---

[105] Зовет кот кошурку
В печурку спать.
Предвещание свадьбы; первая песня предрекает смерть.

[106] Таким образом узнают имя будущего жениха.

Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.

XI

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток;
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.

XII

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился.
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна *ах!* а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? медведь за ней!

XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея

Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он все вослед,
И сил уже бежать ей нет.

XV

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом все глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

XVII

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конской топ! [107]
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.

[107] В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь* и *топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» *(Сказка о Бове Королевиче)*. *Хлоп* употребляется в просторечии вместо *хлопание*, как *шип* вместо *шипения:* Он шип пустил по-змеиному. *(Древние русские стихотворения)*. Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка.

XVIII

Он знак подаст — и все хлопочут;
Он пьет — все пьют и все кричат;
Он засмеется — все хохочут;
Нахмурит брови — все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола, гремя, встает;
Все встали: он к дверям идет.

XIX

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее,
И все кричат: мое! мое!

XX

Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталася во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает[108]
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью

[108] Один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность.

И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.

XXI

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну, говорит, скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»

XXII

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин,
Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,[109]
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

[109] Гадательные книги издаются у нас под фирмою Мартына Задеки, почтенного человека, не писавшего никогда гадательных книг, как замечает Б.М.Федоров.

XXIII

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной «Мальвиной»[110]
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады[111]
Да Мармонтеля третий том.
Мартын Задека стал потом
Любимец Тани... Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

XXIV

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавленье кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, метель
И прочая. Ее сомнений
Мартын Задека не решит;
Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.

XXV

Но вот багряною рукою[112]
Заря от утренних долин

---

[110] *«Мальвина»* — многотомный роман французской писательницы Коттен.

[111] *Петриады* — эпические поэмы о Петре I, написанные в духе классицизма XVIII в.

[112] Пародия известных стихов Ломоносова:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою, — и проч.

Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

XXVI

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов[113],
В пуху, в картузе с козырьком[114]
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

XXVII

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне

---

[113] *Буянов* — герой поэмы «Опасный сосед», написанной дядей Пушкина (отсюда — «мой брат двоюродный»), В.Л. Пушкиным.

[114] Буянов, мой сосед,
. . . . . .
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком...
(Опасный сосед)

На голос, знаемый детьми:
Réveillez vous, belle endormie[115].
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо belle Nina[116]
Поставил belle Tatiana[117].

XXVIII

И вот из ближнего посада
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране;[118]
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против; и, крестясь,
Толпа жужжит, за стол садясь.

XXIX

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы
Да рюмок раздается звон.
Но вскоре гости понемногу
Подъемлют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.
Вдруг двери настежь. Ленский входит,
И с ним Онегин. «Ах, творец! —
Кричит хозяйка: — наконец!»

---

[115] Проснитесь, спящая красотка *(франц.).*
[116] прекрасная Нина *(франц.).*
[117] прекрасная Татьяна *(франц.).*
[118] Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха.

Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.

XXX

Сажают прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно, дурно;
Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.

XXXI

Траги-нервичсских явлений,
Девичьих обмороков, слез
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.

XXXII

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастию, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,

Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

XXXIII

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встает; пред ним собранье
Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.

XXXIV

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей,
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольно ль, иль из доброй воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

XXXV

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным обедом,
Сосед сопит перед соседом;
Подсели дамы к камельку;
Девицы шепчут в уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовут задорных игроков
Бостон и ломбер стариков,
И вист, доныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.

XXXVI

Уж восемь робертов[119] сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет;
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

XXXVII. XXXVIII. XXXIX

Но чай несут; девицы чинно
Едва за блюдички взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чаю с ромом,
Парис окружных городков,

[119] *Роберт* (роббер) — партия в карточной игре в вист.

Подходит к Ольге Петушков,
К Татьяне Ленский; Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берет тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все.
И бал блестит во всей красе.

XL

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана[120]
Бал петербургский описать;
Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

XLI

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том о сем;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.

[120] итальянский художник Альбани; о «нежной» кисти «пламенного Альбана» Пушкин неоднократно упоминает в своих лицейских стихах.

XLII

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

XLIII. XLIV

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И, наклонясь, ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленский мой
Все видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон[121] ее зовет.

XLV

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла...
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!

[121] *Котильон* — старинный танец, которым заканчивался бал.

Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленский снесть удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.

Глава шестая

La sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui l'morir non dole.
Petr.[122]

I

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.

II

Все успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объяты сном.
Одна, печальна под окном
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.

---

[122] Там, где дни облачны и кратки,
Родится племя, которому умирать не больно.
Петрарка (итал.).

III

Его нежданным появленьем,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит...
«Погибну, — Таня говорит, —
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».

IV

Вперед, вперед, моя исторья!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

V

Бывало, льстивый голос света
В нем злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженях попадал,
И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул[123], чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Вери[124]
В долг осушать бутылки три.

VI

Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,

VII

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем,
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем.
Sed alia tempora![125] Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

---

[123] *Регул* — древнеримский полководец, прославившийся своим героическим поведением в плену у карфагенян.

[124] Парижский ресторатор.

[125] Но времена иные! *(лат.)*.

VIII

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том о сем.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним, и так нимало
Поутру не был удивлен,
Когда его увидел он.
Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, осклабя взор,
Вручил записку от поэта.
К окну Онегин подошел
И про себя ее прочел.

IX

То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль *картель:*
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он *всегда готов.*
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.

X

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,

Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

XI

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело...
К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шепот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мненье![126]
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

XII

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждет поэт;
И вот сосед велеречивый
Привез торжественно ответ.
Теперь ревнивцу то-то праздник!
Он все боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг на друга курок
И метить в ляжку иль в висок.

[126] Стих Грибоедова.

XIII

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел
Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,
Махнул рукою напоследок —
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,
На встречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

XIV

«Зачем вечор так рано скрылись?»
Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой! ..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти здоров...

XV. XVI. XVII

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгою своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый

Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

XVIII

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

XIX

Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды
И брал на них одни аккорды,
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так. — И на крыльцо.

XX

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;

Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.

XXI

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

XXII

Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»

XXIII

Так он писал *темно* и *вяло*
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин верно ждет уж нас».

XXIV

Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мертвым сном.
Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер[127] петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко,
И перелетная метель
Блестит и вьется; но постель
Еще Евгений не покинул,
Еще над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит — и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.

XXV

Он поскорей звонит. Вбегает
К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает
И подает ему белье.
Спешит Онегин одеваться,
Слуге велит приготовляться

[127] *Веспер* — Венера, которая дольше всех горит на утреннем небе.

С ним вместе ехать и с собой
Взять также ящик боевой.
Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит
Лепажа[128] стволы роковые
Нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам.

XXVI

Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жернов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же, — молвил с изумленьем
Зарецкий, — где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).

XXVII

«Мой секундант? — сказал Евгений, —
Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй, —
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и *честный малый*
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

[128] Славный ружейный мастер.

XXVIII

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

XXIX

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.

Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

XXXI

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его ... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь, —
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит», — решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.

Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

XXXVIII. XXXIX

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

XL

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

XLI

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбарей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,

Коня пред ним остановляет,
Ремянный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.

XLII

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погрузясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,

XLIII

Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

XLIV

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,

А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, *младость*?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрям и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

XLV

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

XLVI

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Глава седьмая

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Дмитриев.

Как не любить родной Москвы?
Баратынский.

Гоненье на Москву! что значит видеть свет!
Где ж лучше?
Где нас нет.
Грибоедов.

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

II

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

III

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальной стороне,
О чудной ночи, о луне...

IV

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина[129] птенцы,
Вы, деревенские Приамы[130],
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

V

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной
Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной

[129] Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной.
[130] *Деревенские Приамы* — легендарный царь Трои Приам имел многочисленное семейство.

Пойдемте слушать шум дубравный
Над безыменною рекой
В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылый,
Еще недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой,
Но где его теперь уж нет...
Где грустный он оставил след.

VI

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек,
Виясь, бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой, —
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»

VII

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне... памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.

VIII. IX. X

Мой бедный Ленский! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою...
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.

XI

Мой бедный Ленский! за могилой
В пределах вечности глухой
Смутился ли, певец унылый,
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..
Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

XII

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;

Лишь смертной бледностью покрылось
Ее печальное лицо.
Когда все вышли на крыльцо,
И всё, прощаясь, суетилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.

XIII

И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед...
И вот одна, одна Татьяна!
Увы! подруга стольких лет,
Ее голубка молодая,
Ее наперсница родная,
Судьбою вдаль занесена,
С ней навсегда разлучена.
Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад...
Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам,
И сердце рвется пополам.

XIV

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб... но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят... На что грустить?..

XV

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;

Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильней.

XVI

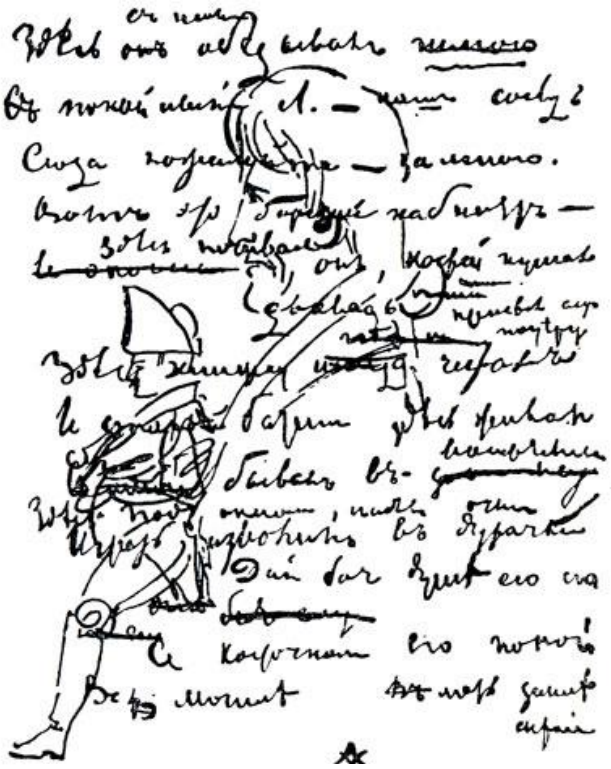
Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают...
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор...
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.

XVII

«Увидеть барской дом нельзя ли?» —
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «А вот камин;
Здесь барин сиживал один.

XVIII

Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»



Автограф и рисунок Пушкина (глава седьмая, строфа XVIII). 1827-1828 гг.

XIX

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной[131]
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;

[131] *Столбик с куклою чугунной* — статуэтка Наполеона.

Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень.
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана[132]
Да с ним еще два-три романа[133],
В которых отразился век
И современный человек

[132] *Певца Гяура и Жуана* — имеется в виду Байрон, автор восточной поэмы «Гяур» и романа в стихах «Дон-Жуан».

[133] *Да с ним еще два-три романа...* — В № 1 «Литературной газеты» за 1830 г. Пушкин писал, что «славный роман Бенжамена Констана «Адольф» принадлежит к числу *двух или трех романов,* в которых отразился век...» (см. т. 6 — «О переводе романа Б. Констана „Адольф”» <«Роман Б. Констана "Адольф" в переводе П.А. Вяземского» — В.Л.>). Затем следует характеристика этих романов из тогда еще не напечатанной, главы седьмой «Евгения Онегина».

Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

XXIII

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

XXV

Ужель загадку разрешила?
Ужели *слово* найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собралися два соседа
И где об ней идет беседа.
— Как быть? Татьяна не дитя, —
Старушка молвила кряхтя. —
Ведь Оленька ее моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора; а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И все грустит она,
Да бродит по лесам одна.

XXVI

«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь. —
«Что ж, матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».
— Ох, мой отец! доходу мало. —
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам хоть я взаймы».

XXVII

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой;
Сочлась — и тут же положила
В Москву отправиться зимой.
И Таня слышит новость эту.
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты,
И запоздалые наряды,

И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей
Привлечь насмешливые взгляды!..
О страх! нет, лучше и верней
В глуши лесов остаться ей.

XXVIII

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует...
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»

XXIX

Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Остановляют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI

Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,

XXXII

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый,
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!

Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей.

XXXIII

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Современем (по расчисленью
Философических таблиц[134],
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Прорoем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

XXXIV

Теперь у нас дороги плохи[135],
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи

---

[134] *Философических таблиц* — в черновиках: «Дюпеновых таблиц». Имеется в виду книга французского математика и экономиста Ш. Дюпена (1784—1873) «Производительные и торговые силы Франции» (1827), в которой содержатся статистические таблицы, показывающие сравнительную экономику различных европейских стран, в том число и России.

[135] Дороги наши — сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль, проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша;
Дорога, скажешь, хороша —
И вспомнишь стих: *для проходящих!*
Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш *Мак-Адам* или *Мак-Ева*
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым,
И запорошит ранний снег
Следы ее песком пушистым.
Или когда поля проймет
Такая знойная засуха,
Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмуря, муха.
(«Станция». Князь Вяземский)

Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы[136]
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.

Московский Кремль. Рисунок Пушкина. 1827 г.

XXXV

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны[137] наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают, как забор[138].
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

XXXVI

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг

---

[136] *Циклопы* — здесь: кузнецы.

[137] *Автомедоны* — здесь: ямщики (Автомедон — имя возницы Ахиллеса в «Илиаде» Гомера).

[138] Сравнение, заимствованное у К**, столь известного игривостию изображения. К... рассказывал, что, будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу.

Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

XXXVII

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют: вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX. XL

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке[139]
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь,
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.

XLI

— Княжна, mon ange! —
«Pachette!»[140] — Алина! —
«Кто б мог подумать? Как давно!
Надолго ль? Милая! Кузина!
Садись — как это мудрено!
Ей-богу, сцена из романа...»
— А это дочь моя, Татьяна. —
«Ах, Таня! подойди ко мне —
Как будто брежу я во сне...
Кузина, помнишь Грандисона?»
— Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил.

XLII

А тот... но после всё расскажем,
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне;

---

[139] *У Харитонья в переулке* — близ церкви св. Харитония, то есть в Харитоньевском переулке, у Чистых прудов. Там в раннем детстве жил и Пушкин (в следующей строфе: «у Симеона» — близ церкви св. Симеона).

[140] мой ангел! — «Пашенька!» *(франц.).*

Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть...
Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость...»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.

XLIII

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Нехорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

XLIV

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

XLV

Но в них не видно перемены;
Всё в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосьё Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух
И так же ест и пьет за двух.

XLVI

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,

Их речи слышит без участья,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

XLVIII

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.

XLIX

Архивны юноши[141] толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

[141] *Архивны юноши* — шутливое прозвище московской дворянской молодежи, служившей в архиве министерства иностранных дел.

L

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,
Где Терпсихоре[142] лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

LI

Ее привозят и в Собранье[143].
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Всё чувства поражает вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

LII

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.

---

[142] *Мельпомена, Талия, Терпсихора* —музы трагедии, комедии, танцев.

[143] *Собранье* — московское Благородное собрание, дворянский клуб, где происходили публичные балы и спектакли.

Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна,
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

LIII

Шум, хохот, беготня, поклоны,
Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,
Между двух теток у колонны,
Не замечаема никем,
Татьяна смотрит и не видит,
Волненье света ненавидит;
Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где *он* являлся ей.

LIV

Так мысль ее далече бродит:
Забыт и свет и шумный бал,
А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал.
Друг другу тетушки мигнули
И локтем Таню враз толкнули,
И каждая шепнула ей:
— Взгляни налево поскорей. —
«Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди...
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое...
Вот отошел... вот боком стал... —
«Кто? толстый этот генерал?»

LV

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою...
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь[144]:
Хоть поздно, а вступленье есть.

[144] *...классицизму отдал честь*. — Эпическая поэма по правилам классицизма должна была начинаться словом «пою» и указанием предмета воспевания (например, в «Россияде» Хераскова: «Пою от варваров Россию свобожденну, попранну власть татар...» и т. д.).

Глава восьмая

Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.
Byron.[145]

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал[146],
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

II

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил[147]
И в гроб сходя, благословил.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

---

[145] Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. *Байрон (англ.).*

[146] *Читал охотно Апулея* — имеется в виду роман римского писателя Апулея (I в. до н. э.) «Золотой осел», в котором описываются похождения героя, превращенного в осла; в беловой рукописи: «читал охотно Елисея», то есть так называемую ироикомическую поэму Василия Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх».

...а Цицерона не читал. — Сочинения знаменитого римского писателя, оратора и государственного деятеля Цицерона обычно изучались для упражнения в латинском языке.

[147] *Старик* Державин *нас заметил...* — Лицейский товарищ Пушкина, декабрист И. И. Пущин, вспоминал: «Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у меня. Когда же патриарх наших певцов, в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать его и осенил кудрявую его голову, — мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, — его уже не было, он убежал!» (И. Пущин, Записки о Пушкине, М. 1956, стр. 60).
Ср. рассказ самого поэта об этом эпизоде (т. 7).

III

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

IV

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной.
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой[148], при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

V

И, позабыв столицы дальной
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,

[148] *Ленора* — героиня романтической баллады немецкого поэта Бюргера, переведенной на русский язык Жуковским. В этой балладе рассказывается, как Ленора скачет на коне, увозящем ее с мертвым женихом.

И между ими одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

VI

И ныне музу я впервые
На светский раут[149] привожу;
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей,
Явленьем медленным гостей
Перед хозяйкой молодою
И темной рамою мужчин
Вкруг дам как около картин.

VII

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед[150],
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?

---

[149] Rout, вечернее собрание без танцев, собственно значит толпа.
[150] *Олигархические беседы* — беседы избранного круга общества.

Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
— Давно ли к нам он занесен?

VIII

Все тот же ль он иль усмирился?
Иль корчит также чудака?
Скажите: чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет...
— Знаком он вам? — И да и нет.

IX

— Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

X

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,

Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

XI

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

XII

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим[151].
Онегин (вновь займуся им),
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

[151] *...демоном моим* — Пушкин имеет в виду свое стихотворение «Демон» (см. т. 2).

XIII

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день,
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.

XIV

Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... [152](Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)

XV

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше

[152] благородства *(франц.).*

И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar[153]. (Не могу...

XVI

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...)
Но обращаюсь к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

XVII

«Ужели, — думает Евгений: —
Ужель она? Но точно... Нет...
Как! из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
— Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я. —
«Да кто ж она?» — Жена моя. —

[153] вульгарно *(англ.).*

XVIII

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух лет. —
«На ком?» — На Лариной. — «Татьяне!»
— Ты ей знаком? — «Я им сосед».
— О, так пойдем же. — Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

XIX

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

XX

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наруже, всё на воле,

Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

XXI

Он оставляет раут тесный,
Домой задумчив едет он;
Мечтой то грустной, то прелестной
Его встревожен поздний сон.
Проснулся он; ему приносят
Письмо: князь N покорно просит
Его на вечер. «Боже! к ней!..
О буду, буду!» и скорей
Марает он ответ учтивый.
Что с ним? в каком он странном сне!
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь?

XXII

Онегин вновь часы считает,
Вновь не дождется дню конца.
Но десять бьет; он выезжает,
Он полетел, он у крыльца,
Он с трепетом к княгине входит;
Татьяну он одну находит,
И вместе несколько минут
Они сидят. Слова нейдут
Из уст Онегина. Угрюмый,
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает. Голова
Его полна упрямой думой.
Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна.

XXIII

Приходит муж. Он прерывает
Сей неприятный tête-à-tête;[154]
С Онегиным он вспоминает
Проказы, шутки прежних лет.
Они смеются. Входят гости.
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор;
Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

XXIV

Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лицы,
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые;
Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;
Тут был в душистых сединах
Старик, по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

XXV

Тут был на эпиграммы падкий,
На всё сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,

[154] разговор наедине *(франц.)*.

На вензель[155], двум сестрицам данный,
На ложь журналов, на войну,
На снег и на свою жену.
. . . . . .
. . . . . .

XXVI

Тут был Проласов, заслуживший
Известность низостью души,
Во всех альбомах притупивший,
St.-Priest[156], твои карандаши;
В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим,
И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор
Ему был общий приговор.

XXVII

Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай:
А без того вам рай не рай.

---

[155] *Вензель* — золотой, осыпанный бриллиантами знак, выдававшийся в награду фрейлинам.

[156] *Сен-При* (1803—1828) — сын французского эмигранта; был популярен в светском обществе как талантливый карикатурист.

XXVIII

Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь!

XXIX

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

XXX

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблен;
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, стеклянным сеням
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень;

Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

XXXI

Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три,
Порой одним поклоном встретит,
Порою вовсе не заметит:
Кокетства в ней ни капли нет —
Его не терпит высший свет.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет — и едва ль
Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к *водам*.

XXXII

А он не едет; он заране
Писать ко прадедам готов
О скорой встрече; а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет,
Еще надеется, хлопочет;
Смелей здорового, больной,
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь-в-точь.

Письмо Онегина к Татьяне

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!

Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор

Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.

XXXIII

Ответа нет. Он вновь посланье:
Второму, третьему письму
Ответа нет. В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видят, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...

XXXIV

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...
Надежды нет! Он уезжает,
Свое безумство проклинает —
И, в нем глубоко погружен,
От света вновь отрекся он.
И в молчаливом кабинете
Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете,
Поймала, за ворот взяла
И в темный угол заперла.

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene[157], господа.

XXXVI

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами

[157] и отлично *(итал.).*

Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

XXXVII

И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит *она*... и все она!..

XXXVIII

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: Benedetta[158]
Иль Idol mio[159] и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

---

[158] Благословенна *(итал.).*
[159] Мой кумир *(итал.).*

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окны, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;

Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно все. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.

XLII

Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

XLV

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,

Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

XLIX

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,

Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!

L

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл[160]
Еще не ясно различал.

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Конец

1823—1830 гг..

[160] *Магический кристалл* — стеклянный шар, употреблявшийся при гадании.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Стихотворение «Родина»

Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме, средь жолтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

1841 г.

Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива...»

Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

1837 г.

Стихотворение «Прощай, немытая Россия»

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

1841 ? г.

Стихотворение «Дума»

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
<Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.>
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

1838 г.

Стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...»

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, —
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

1840 г.

Стихотворение «Смерть поэта»

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет.
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок, — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

1837 г.

Роман «Герой нашего времени»

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте однако после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!

Часть первая

I Бэла

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного неболыпого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Бóльшая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Койшаурскую Гору, и во всё горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно-вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской Горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывала, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сертук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он, молча, опять поклонился.

— Вы верно едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощию этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня:

— Вы верно недавно на Кавказе?

— С год, — отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать,

так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, [1] — отвечал он приосанившись. — Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считают в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но, благодаря отливу снегов, мы легко могли различать дорогу, которая всё еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину, — но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

— Ведь этакой народ! — сказал он: — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!». Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода! — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

---

[1] Ермолове. *(Примеч. Лермонтова.)*

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахну́л сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою: — в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик: — а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, — знаете? [2]

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и

[2] *...у Каменного Брода...* И. Андроников пишет: «Это не выдумано: Лермонтов называет конкретное место. Крепость находится на Аксае, в 18 верстах от Шелковой станции за переправой, и называлась „Таш-Кичу“ или „Каменный брод“. Выстроена она при Ермолове, одновременно с крепостью «Внезапной» и обеспечивала линию, шедшую по рекам Аксай и Акташ, от набегов чеченцев» (И. *Андроников*. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., 1955, стр. 177).

караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами было приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «да, бывало!». Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет здравствуйте (потому что фельдфебель говорит здравия желаю). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рому? — сказал я моему собеседнику: — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно, другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек.

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он: — как напьются бузы [3] на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирно́ва князя был в гостях[4].

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), — вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой

---

[3] *...как напьются бузы... Буза* — сусло, молодое вино

[4] і>...у мирно́ва князя был в гостях. «Мирны́ми» назывались чеченцы, черкесы и другие горцы, признавшие власть русских; однако обычно эти признания были вынужденными, так что деление горцев на «мирны́х» и «немирны́х» (ср. ниже о Казбиче) не соответствовало действительности.

новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно, ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и должно быть богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирно́й князь. Сынишко его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить. Всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А, бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман будет твоя башка!» [5].

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и

[5] *...яман будет твоя башка. Яман* (тюркское) — плохая.

повели в кунацкую. Я однако ж не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, — знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честну́ю компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?»

— Прелесть! — отвечал он: — а как ее зовут? — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. [6] Он, знаете, был не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любяит таскаться за Кубань с абреками [7], и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать

---

[6] *...моего старого знакомца Казбича. Казбич* — реальное историческое лицо: вождь шапсугов, руководивший ими в борьбе с русскими войсками. См. очерк Н. О. Лернера. «Оригинал одного из героев Лермонтова» («Нива», 1913, № 37).

[7] *...таскаться за Кубань с абреками...* По определению Л. Н. Толстого (в повести «Казаки»), «абреком называется немирно́й чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека».

невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы: а какая сила! скачи хоть пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я: — уж он верно что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: якши тхе, чек якши! [8]

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я: — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат: — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А, Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания: — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя аллаху, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача [9] били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыты оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня; он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они верно думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков

[8] *...якши тхе, чек якши* (тюркское) — хорошо, очень хорошо.

[9] *...сухие сучья карагача... Карагач* (тюркское) — дерево, вид вяза.

выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз [10]; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! Это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— Йок, [11] не хочу, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат: ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю всё, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда [12]: приложи лезвеем к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал; а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат: — видишь, я на всё решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом, чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись

---

[10] *...выскакивает прямо к ним мой Карагёз. Карагёз* (тюркское) — черный глаз.

[11] *Йок* (тюркское) — нет.

[12] *...а шашка его настоящая гурда... Гурда* — название лучших кавказских клинков (ср. в очерке Лермонтова «Кавказец»: «...у него завелась шашка, настоящая гурда»). Л. Н. Толстой (в повести «Казаки») объяснил это слово так: «Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда».

меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не сто́ит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса[13]:

Много красавиц в аулах у нас [14],
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их — завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? на первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку: — не лучше ли нам поскорей убраться?»

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж верно кончится худо; у этих азиатов всё так: натянулись бузы [15], и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая: — ведь ускользнул.

— И не ранен? — спросил я.

---

[13] Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется прозой; но привычка — вторая натура. *(Примеч. Лермонтова)*.

[14] *...Много красавиц в аулах у нас* и т. д. — вариант «Черкесской песни» из поэмы Лермонтова «Измаил-Бей».

[15] *...натянулись бузы...*. См. прим. 3.

— А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а всё махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: чёрт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя, стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что́ бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..»

— Всё, что он захочет, — отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты.

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул. «А мой отец?» — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело — по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он всё-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз

приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день. «Азамат! — сказал Григорий Александрович: — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...»

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости; как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а всё-таки был моим кунаком[16].

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастию, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь! — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это верно какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус яман [17], яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали, и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал; верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

---

[16] Кунак значит приятель. *(Примеч. Лермонтова.)*

[17] ...*Урус яман* (тюркское) — русский плохой.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Всё равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я всё знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Г<осподин> прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно всё пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!..

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал втупик. Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо.

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал втупик. «Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись: — ведь вы добрый человек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился. Что прикажете делать? есть люди, с которыми непременно до́лжно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча: — в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий

Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и всё грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно: Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя пери, — говорил он: — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой». — Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. «Или, — продолжал он: — я тебе совершенно ненавистен?» — Она вздохнула. — «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» — Она побледнела и молчала. — «Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля.

«Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин, — ты видишь как я тебя люблю; я всё готов отдать, чтобы тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?» — Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница, — говорила она: — твоя раба; конечно ты можешь меня принудить», — и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед. «Что, батюшка? — сказал я ему. — Дьявол, а не женщина! — отвечал он: — только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...» Я покачал головою. «Хотите пари? — сказал он: — через неделю!» — «Извольте!» Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками, привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки: — устоит ли азиатская красавица против такой батареи? — «Вы черкешенок не знаете, — отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки — совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны». — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину: она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к

ней. «Бэла! — сказал он: — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся, прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. — Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы: — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастье? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. — Да неужели, — продолжал я, — отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней, узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, — это было в сумерки, — он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени всё это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, — сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. — Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она всё поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-Горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: всё приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке всё было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только всё же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, — прибавил он, указывая на восток: — что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого,

пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую,— и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой — осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных[18], — а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж всё-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не сто́ит того, чтоб об ней так много заботиться.

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? — Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите, или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба [19], le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-Горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, — не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слов «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества.

---

[18] *...отпрягши заранее уносных... Уносные* — передняя пара лошадей при запряжке четверкой.

[19] *...как называет ее ученый Гамба... Гамба́* — фамилия французского консула в Тифлисе, Jacques-François Gamba (1763—1833), автора популярной тогда книги о путешествии по Кавказу: Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces siluées au-de là du Caucase, fait depuis 1820 jusqu' en 1824 an., 2 vol. avec une carte géographique, Paris, 1824. Второе издание вышло в 1826 году. Лермонтов имеет в виду следующее место в этой книге: «Наши лошади постепенно углублялись в снег и лед, и мы были вынуждены обратиться к помощи волов, отданных в наше распоряжение; они после четырех верст медленного и тяжелого ходу подвезли нас на вершину горы св. Кристофа, до высшей точки нашего путешествия» (стр.34).

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги, и уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; — налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. — В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору, — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер врывался в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр 1-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь чему верить, тем более, что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан: — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег — того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась[20] , что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться. — Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие, — сказал наконец один: — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется, — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку», — прибавил он, указывая на осетина.

[20] *...Байдара так разыгралась... Байдара* — название горной реки (правого притока Терека), протекающей в Байдарском ущелье, между станциями Койшаур и Коби.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан; — уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, — сказал я, — что без них нам было бы хуже.

— Всё так, всё так, — пробормотал он: — уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево, и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею. «Всё к лучшему! — сказал я, присев у огня: — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось».

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали...

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так право грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства; об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому назад, — только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял, и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре всё шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж кажется говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, всё чаще и чаще... Нехорошо, подумал я: верно между ними черная кошка проскочила!

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера, — наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала, — отвечала она сквозь слезы, — придумывала разные несчастия: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слёзы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, — я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать: «Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, — походит да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь».

— Правда, правда! — отвечала она: — я буду весела. — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался; думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!». Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками [21], оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; — с другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть всё. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади: всё ближе и ближе, и наконец остановился по ту сторону речки, саженях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча!.. «Посмотри-ка, Бэла, — сказал я: — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..».

Она взглянула и вскрикнула: «Это Казбич!»...

— Ах он разбойник! смеяться что ли приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда. — «Это лошадь отца моего», — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее

[21] Овраги. *(Примеч. Лермонтова.)*

сверкали: — «Ага! — подумал я: — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь».

— Подойди-ка сюда, — сказал я часовому: — осмотри ружье, да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром. — «Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...» — «Прикажи!» — сказал я смеясь... «Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой: — подожди маленько, что ты крутишься как волчок?» Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно думал, что с ним заводят переговоры, — как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился, — отвечал он: — такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился. «Помилуйте, — говорил я: — ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли: ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что, год тому назад, она ему больно нравилась, — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать порядочный калым, то верно бы посватался...» Тут Печорин задумался: «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц, и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди

— невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой; если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я так же очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощию бурь и дурных дорог». — Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. — Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— Ага, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он конечно старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только, не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по

камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я: — к чему упрямиться? Уж видно такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи; таков уж был человек: что задумает, подавай; видно в детстве был маменькой избалован. Наконец в полдень отыскали проклятого кабана, — паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости; только кустарник закрывал ее от нас. — Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастию, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были всё ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поровнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему: — берегите заряд; мы и так его догоним». — Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! — Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уже и быть, одним разом всё бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! — Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую». — «Правда!», — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. — Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и

послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он: — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть: другое и не нужно, а всё украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели, только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», -отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она. — Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; — она покачала головкой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во всё время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию: я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. — Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! Бледные щёки впали, глаза сделались большие, большие, — губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить

Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. — Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. — Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла! Ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно.

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему: — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Всё-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». — Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. — «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это всё не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил как отец... ну, да бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки за спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. — Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы [22], я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили, за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты

[22] У *меня был кусок термаламы... — Термалама* — плотная шелковая ткань, выделываемая в Персии и Турции.

белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: всё-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? — Месяца три спустя его назначили в е....й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались; да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было... Впрочем до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, что́ сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II. Максим Максимыч

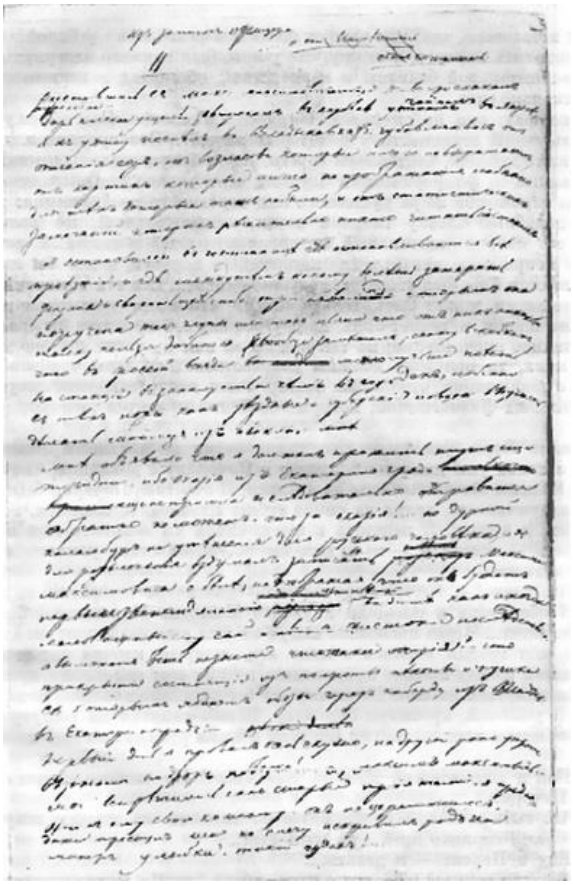
Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке[23] , чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не

[23] *...завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ. Казбек* — станция на Военно-Грузинской дороге у подножия горы Казбек, в 42 верстах от Владикавказа; *Ларс* — станция на Военно-Грузинской дороге, в 25 верстах от Владикавказа; *Владикавказ* — первоначально крепость на Тереке, основанная русскими в 1784 г. для защиты Военно-Грузинской дороги. Ныне город Орджоникидзе.

воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград.



Страница повести «Максим Максимович». Автограф М. Ю. Лермонтова. 1839. Гос. Публ. библ. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе всё, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за деревьев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого

барина, — нечто вроде русского Фигаро[24]. — «Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что это — оказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. — «Слава богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. — Экая чудная коляска? — прибавил он: — верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую! — «А кто бы это такое был — подойдемте-ка узнать...» Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан: — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. — Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный...».

— Чья коляска?.. моего господина...

— А кто твой господин?

— Печорин...

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. — воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется — да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где же он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч: — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом: — пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя,

[24] ...*нечто вроде русского Фигаро. Фигаро* — имя камердинера в комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. — «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

— Ничего; благодарствуйте...

— Ну, как угодно! — Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик: — «А ведь вы правы: всё лучше выпить чайку, — да я всё ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да видно что-нибудь задержало».

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе, и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, — он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уже очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы... — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. — «Мне надо сходить к коменданту, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье: босые мальчики осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать вам его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно-чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала [25]. С первого взгляда на лицо его, я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и вероятно обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади; чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; об глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса, и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был

[25] *...он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала*. Имеется в виду героиня романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина», подробно описанная как женщина очень изнеженная: «Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура... и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан» и т. д. (О. Бальзак, Собрание сочинений, т. II, М, 1952, стр. 139).

вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что всё готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему. «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...»

— Ах, точно! — быстро отвечал он: — мне вчера говорили; но где же он? — Я обернулся к площади и увидал Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты?.. а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем, — говорил он: — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..»

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть! — проворчал он; — я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески: — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать возжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах; — конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. — Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, — ну что вы об этом думаете?.. ну какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нету проку в том, кто старых друзей забывает!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?

— А бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское, мне стало смешно и жалко...

— Вот они все, — сказал он: — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними всё, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело!.. Что, я разве друг его какой, или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь... — да его дома не было...а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая, еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности, или от другой причины, протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда перед ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

Журнал Печорина

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга — понятна каждому; но я видел

его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтобы разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и может быть они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю.

I Тамань

Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «кто идет?». Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к чёрту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок: — только вашему благородию не понравится; там нечисто!» — Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышевую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо

смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, — подумал я: — завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?». — «Нема». — «Как? совсем нету?» — «Совсим». — «А хозяйка?» — «Побигла в слободку». — «Кто ж мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение противу всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто, с потерею члена, душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. «Ни». — «Кто же ты?» — «Сирота, убогий». — «А у хозяйки есть дети?» — «Ни; была дочь, да утикла за море с татарином». — «С каким татарином?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мною во мраке всё вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. *В тот день немые возопиют*

и слепые прозрят [26]— подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут, с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

«Что, слепой? — сказал женский голос: — буря сильна; Янко не будет». — «Янко не боится бури», — отвечал тот. — «Туман густеет», — возразил опять женский голос, с выражением печали. — «В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», — был ответ. «А если он утонет?» — «Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты».

Последовало молчание; меня однако поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши: — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей: прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой, — сказала она: — я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять, и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я, с невольным биением сердца, глядел на бедную лодку, но она, как утка, ныряла, и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги, но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они

[26] *В тот день немые возопиют и слепые прозрят...* Измененная цитата из Библии: «...в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых» (Книга пророка Исайи, гл. 29, стих 18).

пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого; я ему однако ж не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре, придет почтовое судно, — сказал комендант: — и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

— Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем. — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком, был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере, показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? у ней нет дочери.

— А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я вошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, — сказал я, взяв его за ухо: — говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепец заплакал, закричал, заохал: «куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?». Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая в даль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь — напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с

распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю,
Ходят всё кораблики
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка.
Лодка неснащеная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылушки,
По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низёхонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поровнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие

принадлежит Юной Франции [27]. Она, т. е. порода, а не Юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах, и, особенно, правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону [28], это причудливое создание его немецкого воображения; — и точно, между ними было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

По́д-вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, — спросил я: — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять не далеко». — Кто ж тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал» (она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить ее, — нимало! она захохотала во всё горло. «Много видели, да мало знаете; а что знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только, что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина [29]; она села против меня тихо и

---

[27] *...это открытие принадлежит Юной Франции. «Юная Франция»* (Jeune France») — так называли себя молодые французские писатели романтического направления после революции 1830 г.

[28] *...я вообразил, что нашел Гётеву Миньону... Миньона* — героиня романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

[29] *...то была она, моя ундина. Ундина* — русалка в немецком фольклоре. Лермонтовский образ был навеян «Ундиной» Жуковского — поэмой («старинной повестью»), представляющей собою переложение стихами прозаической повести немецкого писателя Фридриха де Ламотт-Фуке.

безмолвно и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чаю, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Тамань. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1837.
Карандаш. ИРЛИ АН СССР

Часа через два, когда всё на пристани умолкло, я разбудил своего казака: «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему: — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

— Идите за мной, — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками: — это значит, что я тебя люблю»... И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.
— Ты видел, — отвечала она: — ты донесешь, — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды, минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно бросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал.

На дне лодки я нашел половину старого весла, и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса всё, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она: — всё пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. — «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко: — ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему

уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться, а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал слепой. — «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой всё сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов*? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, — подарок приятеля, — всё исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

Конец первой части

Часть вторая (Окончание журнала Печорина)

II Княжна Мери

11-го мая

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури» [30], на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. — Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления? — Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается всё водяное общество.

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сертукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сертука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись [31].

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом... Они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают

[30] *...«последняя туча рассеянной бури»* — цитата из стихотворения Пушкина «Туча».

[31] *...«последняя туча рассеянной бури»* — цитата из стихотворения Пушкина «Туча».

из-за воротника брызжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец! На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера и с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение: они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим. В них душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. — Я его понял, и он за это

меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «нет, вы (или ты) этого не должны знать!.. Ваша чистая душа содрогнется!.. Да и к чему?.. Что я для вас! — Поймете ли вы меня?..» — и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К... полк, останется вечною тайной между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую, — сказал он вздохнув. — Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! — На второй было закрытое платье *gris de perles* [32], легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur puce* [33] стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская, — сказал Грушницкий: — и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на англинский манер. Они здесь только три дня.

— Однако ты уж знаешь ее имя?

---

[32] Серо-жемчужное. (Франц.) — *Ред*.

[33] Красновато-бурого цвета (цвет блохи). (Франц.) — *Ред*.

— Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев. — Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться; эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я усмехаясь. — А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стаканы?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузое [34]! Да и борода кстати, и прическа *à la moujik* [35].

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что...

— О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поровнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante [36].

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза, — именно бархатные, я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах: нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска, они так мягки, они будто бы тебя гладят. — Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади, — сказал Грушницкий с негодованием.

— Mon cher, — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон: — je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrementla la vie serait un mélodrame trop ridicule [37].

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам с висящими между них кустарниками. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком

---

[34] *А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузое*. У Робинзона Крузо (в романе Даниеля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузое») — не трость, а сделанный им самим зонтик.

[35] По-мужицки. (Франц.) — *Ред*.

[36] Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом. (Франц.) — *Ред*.

[37] Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой. (Франц.) — *Ред*.

положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и всё напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела всё это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска; за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку: — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

Пятигорск. Картина маслом. М. Ю. Лермонтова. 1837.
Литературный музей, Москва

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу: это чувство было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну!

13-го мая

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим и поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились! —

почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно-порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противуположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сертук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; — рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном, — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас, — сказал я: — у меня, кроме этого, есть еще убеждение, — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а право из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в

глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона [38], мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите: вот нас двое умных людей; мы знаем заране, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга, одно слово для нас целая история, видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом всё, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость!

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул.

Он отвечал подумавши:

— В вашей галиматье однако ж есть идея.

— Две, — отвечал я.

— Скажите мне одну, я сам скажу другую.

— Хорошо, начинайте, — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых, потому, что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала об Грушницком.

---

[38] *..как делали римские авгуры, по словам Цицерона... Авгуры* — жрецы-гадатели в древнем Риме. В трактате «О гадании» Цицерон говорит: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется авгур, когда видит другого авгура».

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль...

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении: — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно.

— Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо... Я ей заметил, что верно она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума! Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противуречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками: — разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, — продолжал я после минуты молчания: — я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет, — отвечал Вернер: — у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена: на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве, и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего: я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать: она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру; в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, — право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. — Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением, — московская привычка! — Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, всё сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив: был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностью.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце: «Она вам знакома». Мое сердце, точно, билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я: — только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. — Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, относитесь обо мне дурно.

— Пожалуй, — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало такую власть, как надо мной; всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее всё те же звуки; я глупо создан: ничего не забываю, — ничего.

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; — видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. — Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости: — верно очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?.. — Она сказала это довольно громко и вероятно с намерением

кольнуть меня. «А-га! — подумал я: — вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя, — теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок.

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял воинственный вид: ходит закинув руки за спину и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй, самый приятный дом на водах! Всё здешнее лучшее общество!..

— Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если б я носил эполеты...

— Помилуй, да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением: да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар.

— У тебя всё шутки! — сказал он, показывая, будто сердится: — во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмóтрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?..

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно, и третье слово ее было: «кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. — Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен. Мой друг, Печорин, я тебя не поздравляю, ты у нее на дурном замечании... А право, жаль! потому что Мери очень мила!

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря об женщине, с которой они едва знакомы, называют ее моя *Мери, моя Sophie,* если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить — а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может! Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось

подозрительным! — Я стал его рассматривать, и что же? мелкими буквами имя Мери было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний! я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться.

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? — и она ли? И почему я думаю, что это она?.. и почему я даже так в этом уверен. Мало ли женщин с родинками на щеках! Размышляя таким образом, я подошел к гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она.

Я сел возле нее и взял ее за руку: давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно — и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем, — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала; но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно верно богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, наконец, — прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я: — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем, — тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре; она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца! и будет обманывать, как мужа!.. Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г.....в, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело!

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже, мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волею, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente [39] — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. — Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до

[39] Медленная горячка. (Франц.) — *Ред*.

гроба; но воспоминание об ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок, — на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся всё яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, всё в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках*, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего, оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию [40], куда часто водяное общество ездит *en piquenique* [41]. Дорога идет извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками*, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и

[40] *...из Пятигорска в немецкую колонию... Немецкая колония* — место по дороге из Пятигорска в Железноводск, носившее название «Каррас» или «Шотландка». Лермонтов был здесь перед самой дуэлью — 15 июля 1841 г.

[41] Пикником. (Франц.) — Ред.

голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с *нижегородским* [42]; впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть всё и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец, они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер: — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый, женский взгляд, один подобный тому...

В это время они поровнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

— Mon dieu, un circassien!.. [43] вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier. [44]

Она смутилась, — но отчего? от своей ошибки, или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. Что делает теперь Вера? думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет!..

---

[42] *...смесь черкесского с нижегородским*. *Переделка слов Чацкого в I действии «Горя от ума» Грибоедова*: «Господствует еще смешенье языков: французского с нижегородским».

[43] Боже мой, черкес!. (Франц.) — *Ред*.

[44] Не бойтесь, сударыня, — я не более опасен, чем ваш кавалер. (Франц.)— *Ред*.

— Знаешь ли что? — сказал я ему: — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость, — я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верно о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«О-го! — подумал я: — у него, видно, есть уже надежды...»

— Впрочем для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий: — теперь тебе трудно познакомиться с ними, — а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой, — сказал я зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься, — я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

— Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

21-го мая

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны — когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он не жених. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежных взгляда, — надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими!.. Мы только там можем видеться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая

Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи счастливую эпоху мушек из черной тафты; самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C'est impayable!...[45]. И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось однако довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «mersi, monsieur».

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая впрочем очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще бóльшую дерзость, просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?

---

[45] Это несносно!.. (Франц.) — *Ред*.

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы вероятно не часто будут повторяться.

Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты.

— Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда..

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— Пермете... ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, всё это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который одобрял его знаками, — разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure.... [46]. Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, — потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей всё; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, — прибавила она: — но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

---

[46] На мазурку. (Франц.) — *Ред*.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила
очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все? — Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и наконец произнесла решительно: все!

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он конечно не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — а я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростились — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он: — так-то вы! А еще хотели не иначе познакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

— Я сделал лучше, — отвечал я ему, — спас ее от обморока на бале!..

— Как это? Расскажите!..

— Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий всё на свете!

23-го мая

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушнипкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?

— Нет; но во всяком случае не стоит благодарности, — отвечал я не имея точно на совести никакого благодеяния.

— Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне всё рассказала...

— А что? разве у вас уж нынче всё общее? и благодарность?..

— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно: — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь у них нынче вечером; обещай мне замечать всё: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противуречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем переменим материю, — и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас взошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ли ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяны; все просили ее спеть что-нибудь, — я молчал, и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «charmant! délicieux!» [47]

— Послушай, — говорила мне Вера: — я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь всё, что захочешь. Мы здесь только будем видеться...

---

[47] Очаровательно! Прелестно! (Франц.) — *Ред*.

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба, я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно, — сказал она, — что вы меня вовсе не слушали... но вы, может быть, не любите музыки?..

— Напротив, — после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово; следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична.

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадой наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право не знаю! — Тем более, что это одна женщина,

которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну, что?

«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор, я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения, и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада, или старалась показать; во второй рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия, — сказала она мне вчера. — Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим, — прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче по утру у колодца еще задумчивей; когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней; она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.

Решительно, Грушницкий ей надоел.

Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? — Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностию предприятия... Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? — Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

— Мой друг, со мною было то же самое! и ты видишь однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути: я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, и ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы: полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, всё, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер взошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю, — сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо: — сколько надежд придали мне эти эполеты... О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мне однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать, — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на всё есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она! — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись; — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась; я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне: — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да! такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве; я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуются даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаянье, — не то отчаянье, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаянье, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней — и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы, рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали... ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во всё время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала... а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой... и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют, располагают

ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались...

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности! — о, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я всё это знаю наизусть — вот что скучно!

4-го июня

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему всё это клонится, — говорила мне Вера: — лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартеру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартеру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

— Пойдем на бульвар...

— Ни за что! — в этой гадкой шинели...

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, — сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены, — сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна

сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера всё это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружась в широкие кресла; мне стало жаль ее.

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв всё это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги, — я в таком выгодном свете выставил ее поступки и характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

5-го июня

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели, в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол; самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, — ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, — лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам дуракам чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным [48].

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстух, в носовой платок, на рукава.

---

[48] *.. одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным*. Подразумевается приятель Пушкина — гусар Петр Павлович Каверин (1794—1855), упоминаемый в первой главе романа «Евгений Онегин».

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, — я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле, — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда. — Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно. Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, — или в сотрудники поставщику повестей, например для «Библиотеки для чтения?»... Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна, — говорил Грушницкий: — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменился? — О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ...

— Перестаньте!..

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений, — отвечала она, смеясь.

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен, — отвечал я: — в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis-à-vis; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась...

— Ну, так что ж? А разве это секрет?

— Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее! Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? — Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари, — только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают, — ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О, нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собой.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий.

Когда я взошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью!

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

6-го июня

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват! зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, — без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, — больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла, в самом деле, грозный вид. — Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид: он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно.

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видал ее! — Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле? — Какой вздор!

7-го июня

В одиннадцать часов утра, — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, — я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидав меня, вскочила.

Я взошел в переднюю; людей никого не было, и я без докладу, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны; она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась на креслах, глаза ее засверкали.

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры!.. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: всё знают!

«Это штуки Грушницкого!» — подумал я.

— Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

— И княгиня также?..

— Нет; она остается еще на неделю здесь...

— Так вы не женитесь!..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха, или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю!.. Но вы знаете, есть случаи, — прибавил он, хитро улыбаясь, — в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь на водах преопасный воздух; сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и всё свое состояние — пятьдесят душ, кажется! Но я отвечал, что я к этому неспособен.

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет.

10-го июня

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь всё дышит уединением, здесь всё таинственно — и густые сени

липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, — и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок; — с этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину: по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне всё кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, — а той всё нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздается до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа [49].

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастия развивают в нем воинственный дух.

11-го июня

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! — Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня — но я замужем, — следовательно, не должна его любить.

---

[49] *Но смешивать два эти ремесла...* — неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (слова Чацкого в III действии). У Грибоедова: «А смешивать два эти ремесла/ Есть тьма искусников, я не из их числа».

Способ женский:

Я не должна его любить — ибо я замужем, — но он меня любит, — следовательно... тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большею частию: язык, глаза и, вслед за ними, сердце, если оное имеется.

Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? — Клевета! — закричит она с негодованием.

С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Некстати было бы мне говорить о них с такой злостью, — мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнию... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, всё, что я говорю о них, есть только следствие —

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет[50].

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом [51], о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме». «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо только не смотреть, а идти прямо; — мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт; — зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет, и обернешься назад».

12-го июня

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд. Многочисленная

[50] *Ума холодных наблюдений...* — цитата из *посвящения «Евгени*я Онегина» (П. А. Плетневу).

[51] *Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом*. Лермонтов имеет в виду то место в поэме Торквато Тассо (1544—1594) «Освобожденный Иерусалим», где рассказывается, как рыцарь Танкред вступил в очарованный лес (песнь XIII, строфа 18 и сл.).

кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию.

— Смотрите наверх, — шепнул я ей: — это ничего, только не бойтесь, я с вами.

Ей стало лучше, она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете!.. боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова, из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу, и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... о, нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности: — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение; ваш дерзкий поступок, — я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. — В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться. — Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она: — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю...

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя

на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!..[52] А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия.

Слезши с лошадей, дамы взошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин; каждый шаг моей некованной лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну: неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

Всадники. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1840—1841.
Гос. Публ. библ. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

[52] *Есть минуты, когда я понимаю Вампира*. Вампиром назван отличающийся своей жестокостью герой популярной тогда одноименной английской повести, записанной со слов Байрона его доктором Полидори и переведенной на русский язык. Перевод этот вышел в Москве в 1828 году: «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном. (С английского) П<етр> К<иреевский>». В черновом автографе предисловия к «Герою нашего времени» Лермонтов писал: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?».

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, — да,трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин всё обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, — сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да, я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан. — Господа! Никто здесь его не защищает? Никто!.. тем лучше; хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

— Хотим — только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите: вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль, хорошо! Всё это — вызов, приготовления, условия, будет как можно торжественнее и ужаснее, — я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано... Согласны! Почему же нет, — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого, холодная злость овладевала мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честно́й компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть: за что они все меня ненавидят? думал я. За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. Берегитесь, господин Грушницкий! говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате: со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка...

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть напрасно? — Но объяснитесь, я могу вам простить всё...

— Всё ли?..

— Всё... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, — сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатья.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне: — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; — я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне: son coeur et sa fortune!..[53] но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило: в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере я буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик, будет иметь честь дать

[53] Руку и сердце... (Франц.) — *Ред*.

великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале благородного собрания (иначе — в ресторации) ; билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя. Приходи непременно».

— А-га! — подумал я: — наконец-таки вышло по-моему.

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. — Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уже несколько времени, а нынче два раза посмотрел на меня довольно дерзко. Всё это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор; лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я опустился с горы, и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою, и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я подкрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю?.. О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь всё, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Начались упреки ревности, жалобы, — она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и проч.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия... бедняжка!..

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить

любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленах руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики; ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. «А-га! — сказал грубый голос: — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..»

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты: все тропинки сада, покрывающего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — кричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте, — воры... черкесы...

— У меня насморк, — отвечал я, — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Всё зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня

Нынче поутру у колодца только и было толков, что об ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он: — ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и следственно я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужто в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то: — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю, — отвечал Грушницкий, — только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы и отправились взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтобы попугать. До двух часов ждали в саду; наконец — уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, — наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он: — даю вам честное, благородное слово, что всё это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном: — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не подымая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю, и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на всё.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он: — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове!..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта, — прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он, с слезами на глазах. — Я всё слышал; экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, — продолжал он: — я сам был молод и служил в военной службе; знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему всё — отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки; они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас, точно, есть заговор, — сказал он. — Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню; я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши; у них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий: — он меня оскорбил публично — тогда было совсем другое...» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан: — я всё беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях, и уж знаю, как это устроить. Я всё придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Пострашать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» — В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счет черкесов. Теперь, вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской

войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор; будьте спокойны: я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите, не попадитесь... ведь на шести шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, — я велел сказать, что болен.

Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жеребий!.. и тогда... тогда... что если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И немудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова? — прощайте!

Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вины; он пожирает с восторгом воздушные дары воображенья, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле..... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец!.. И то и другое будет ложно. После этого сто́ит ли труда жить? а всё живешь — из любопытства; ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

_____

Вот уже полтора месяца, как я в крепости *N*; Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! — Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как всё прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время.

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Валтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом...

Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало: тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток Нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка! я могу выздороветь, могу и умереть: то и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени: вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным

ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томленье. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня: он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь всё становился у́же, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?..

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, — бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки; а второй... второй?.. Посмотрите, доктор: видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.

— Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

— Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

— Я готов, — сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия, — сказал он, — и всё, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться...

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтоб это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но всё это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте, — сказал он с явным беспокойством: — вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я всё так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко: — драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

— Мы готовы, — отвечал капитан. — Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьевич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я: — еще одно условие; так как мы будем драться на смерть, то мы обязаны сделать всё возможное, чтоб это осталось тайною, и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажень тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна; это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жеребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко: — ничего не понимаешь! Отправимся же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — Дайте пощупать пульс!.. о-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий спотыкнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заране; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря! [54]

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка.

Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз; голова чуть-чуть у меня не

[54] *...не падайте заране; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря*. В числе дурных предзнаменований, сопровождавших Юлия Цезаря на пути в сенат (где он был убит), древние историки указывают и на то, что он оступился на пороге.

закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда всё устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала: кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жеребий, доктор, — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь! — даю вам честное слово.

Он покраснел: ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора, — шепнул мне доктор, дергая за рукав: — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то всё пропало... Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку: — вы всё испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны, не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и, по данному знаку, начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб.

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся, — сказал капитан: — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха: — Не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — всё вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу, — сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан: — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор.

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан: — не может быть! я зарядил оба пистолета, — разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! — А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил, — я не позволю.

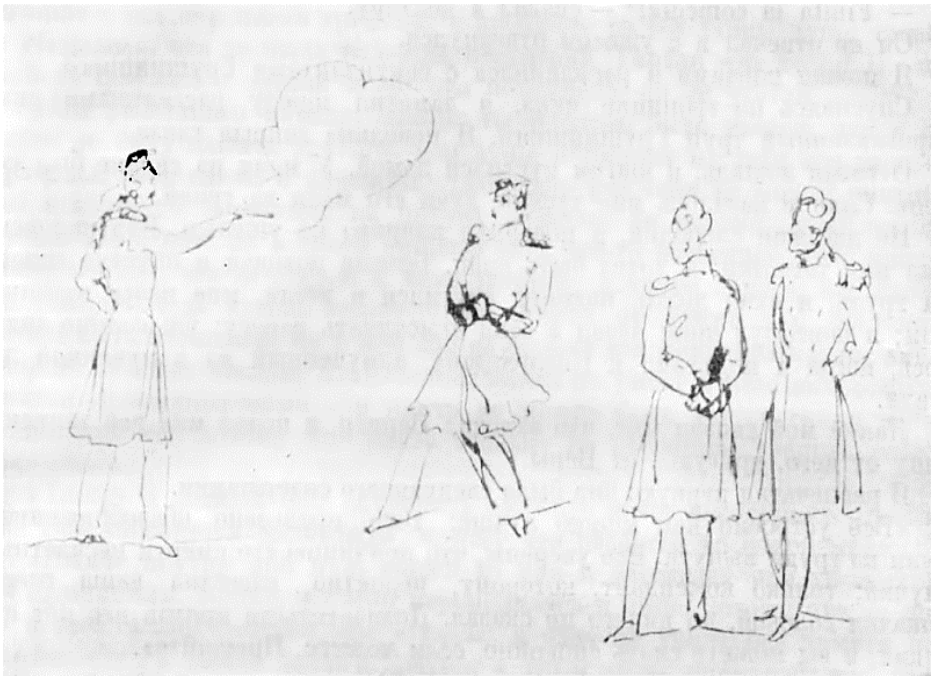
— Хорошо, — сказал я капитану: — если так, то мы будем стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. — Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, — Грушницкий не хотел и смотреть.



Дуэль. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832—1834.
ИРЛИ АН СССР

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидав это, капитан плюнул и топнул ногой: «Дурак же ты, братец, — сказал он: — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе как муха...» Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «а всё-таки это совершенно противу правил».

— Грушницкий! — сказал я; — еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё; тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено, — вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он. — Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил.

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— Finita la comedia! [55] — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

[55] Комедия окончена! (Итал.) — *Ред*.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза.

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую: она была следующего содержания.

«Всё устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, если можете. Прощайте».

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать? Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе всё, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина; ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла с начала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, независящую ни от каких условий; прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

«Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого; моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не

обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, — и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

«Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

«Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... вот уже три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, — но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, — не говорю уж любить, — нет, только помнить... Прощай: идут... я должна спрятать письмо...

«Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? — Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла всё на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух, по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Есентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; чрез несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, всё мое хладнокровие — исчезли, как дым, душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне однако приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горных ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас всё было тихо, в доме княгини было темно

Взошел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов! Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей всё этот старичок рассказал: — как бишь его? — Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь...

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N, я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? я отвечал, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Что до меня касается, то я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинно, но была этому причиной. Она мне всё сказала... я думаю, всё: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, — разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться, — вы имеете состояние, вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа, — я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь — вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, — сказал я: — мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью, — наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились и взошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее

бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я: — вы знаете, что я над вами смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал: — Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою: — вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот всё, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели — я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

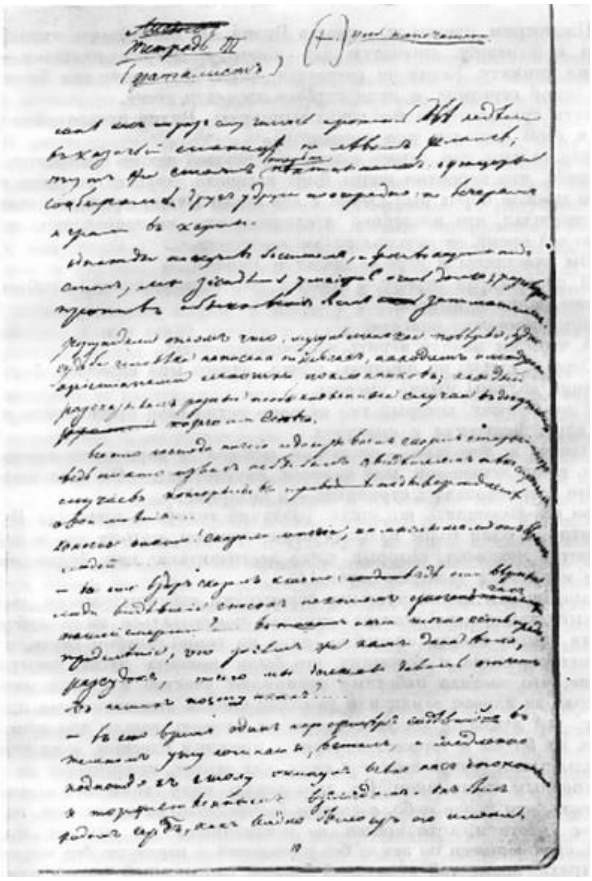
— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Есентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. — Я вздохнул и отвернулся!..

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное... Нет! я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

III Фаталист



Страница повести «Фаталист».
Автограф М. Ю. Лермонтова. 1839
Гос. Публ. библ. им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra [56].

— Всё это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор: — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения...

— Конечно, никто! — сказали многие: — но мы слышали от верных людей...

— Всё это вздор! — сказал кто-то: — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?..

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена

[56] За или против. (Латин.) — *ред*.

полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк»! — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтёров. — «Идет семерка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра.

— Семерка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа, — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного): — господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон: — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари, — сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане.

— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделаете мне дружбу прибавить их к этим.

— Хорошо, — оказал майор: — только не понимаю, право, в чем дело... и как вы решите спор.....

Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки: — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Все последовали за ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над

нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете, — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть да, может быть и нет...

Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то: — уж верно заряжен, коли в головах висел... что за охота шутить!..

— Глупая шутка, — подхватил другой.

— Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте, — оказал я: — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.

— Разумеется, — воскликнули многие, — пойдемте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места, — сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он: — возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

— Слава богу, — вскрикнули многие: — не заряжен...

— Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном, — выстрел раздался — дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что вероятно полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; ко я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во всё время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу...

— В первый раз отроду, — отвечал он, самодовольно улыбаясь: — это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что? вы начали верить предопределению?

— Верю... только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж довольно, — сказал он, вставая: — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным, — и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо, с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли; и к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? — одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути, и имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но по-видимому неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой..... Едва я успел ее рассмотреть, как услыхал шум шагов: два казака бежали из переулка; один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак: — как напьется чихиря, так и пошел крошить всё, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартеры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку, Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя!» — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны, как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит, — продолжали они: — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне всё, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «кого ты, братец, ищешь?» — *«Тебя!»* — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца..... Два

казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «он прав!». Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня, я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот, наконец, мы пришли: смотрим, вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние; она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул: — так уж нечего делать, покорись.

— Не покорюсь, — отвечал казак.

— Побойся бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; — ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь.

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка, — сказал есаул старухе: — поговори сыну; авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору: — он не сдастся: я его знаю; а если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору: — я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул: — что ты над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы: я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем, или нет?.. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, чтó меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу всё, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с, конечно-с! — это штука довольно мудреная! Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны, — приклад маленький, того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он промолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Чёрт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано.....

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Конец

1838—1839 гг..

Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Шинель»

В департаменте... но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякой частный человек считает в лице своем оскорбленным всё общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, в *одном департаменте* служил *один чиновник*, чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на-вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что̀ называется геморроидальным... Что̀ ж делать! виноват петербургский климат. Что̀ касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то̀, что̀ называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было: Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как: родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. „Нет, подумала покойница, имена-то всё такие.“ Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. „Вот это наказание“, проговорила старуха: „какие всё имена, я право никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий.“ Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. „Ну, уж я вижу“, сказала старуха: „что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться

как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий.“ Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили; при чем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло всё это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма; так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожá не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: „перепишите“, или: „вот интересное, хорошенькое дельце“, или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал, и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: „оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил-было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: „оставьте меня, зачем вы меня обижаете“ — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „я брат твой.“ И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: „нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь.“ С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничек на нем был узинькой, низенькой, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на тò, чтò делается и происходит всякой день на улице, на чтò, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — чтò вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на чтò, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел всё это с мухами и со всем тем, чтò ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия,

копию для себя, особенно, если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда всё уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, чтò задает себе добровольно, больше даже чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет, просто, к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний; словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русской человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда всё стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмя стами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья, или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб, и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Всё спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало

пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух, трех местах, именно на спине и на плечах она сделалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней немного было известно, разве только тò, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею, одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал, и потому очень сердился на

темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: „не лезет, ва́рварка; уела ты меня, шельма этакая!“ Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем или, как выражалась жена его: осадился сивухой, одноглазый чорт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякой раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать чорт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз и Акакий Акакиевич невольно выговорил: „Здравствуй, Петрович!“ „Здравствовать желаю, судырь“, сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

„А я вот к тебе, Петрович, того...“ Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто начавши речь словами: „это право совершенно того...“, а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что всё уже выговорил.

„Что̀ ж такое?“ — сказал Петрович, и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, что̀ всё было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных; это первое, что он сделает при встрече.

„А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и всё. И работы немного...“

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем, и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

„Нет, нельзя поправить: худой гардероб!“

У Акакия Акакиевича при этих словах ёкнуло сердце. „Отчего же нельзя, Петрович?“ сказал он почти умоляющим голосом ребенка: „ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...“

„Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся“, сказал Петрович: „да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.“

„Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.“

„Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей нé за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.“

„Ну да уж прикрепи. Как же этак право того!..“

„Нет“, сказал Петрович решительно: „ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж видно вам придется новую делать.“

При слове „новую“ у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и всё, чтò ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. „Как же новую?“ сказал он, всё еще как будто находясь во сне: „ведь у меня и денег на это нет.“

„Да, новую“, сказал с варварским спокойствием Петрович.

„Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...“

„То есть, что будет стоить?“

„Да.“

„Да три полсотни слишком надо будет приложить“, сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

„Полтораста рублей за шинель!“, вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от-роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

„Да-с“, сказал Петрович: „да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу, да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.“

„Петрович, пожалуйста“, говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов: „как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.“

„Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить“, сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович, по уходе его, долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. „Этаково-то дело этакое“ говорил он сам себе: „я право и не думал, чтобы оно вышло того...“ а потом, после некоторого молчания, прибавил: „так вот как! наконец вот чтò вышло, а я право совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак.“ За сим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: „так этак-то! вот какое уж точно никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!“ Сказавши это, он вместо того, чтобы итти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не

подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил всё плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: „чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?“ Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом сердечном и близком. „Ну нет“, сказал Акакий Акакиевич: „теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того...“ Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович точно после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его чорт толкнул. „Нельзя“, сказал: „извольте заказать новую.“ Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. „Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье“, сказал Петрович: „а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим.“

Акакий Акакиевич еще-было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: „уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старание приложим. Можно будет даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике.“

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле, на чтò, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи, да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, словом: все деньги совершенно должны были разойтися, и если бы даже директор был так милостив, что, вместо сорока рублей наградных, определил бы сорок пять или пятьдесят, то всё-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя конечно он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг чорт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: „что ты, с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит.“ Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать;

однако всё же, откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода, он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более, чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если чтò понадобится делать, итти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякой раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самым временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на-лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли точно куницу на воротник. Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть-было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул: „ух!“ и перекрестился. В продолжение каждого месяца он, хотя один раз, наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда всё это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей: уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого

голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкой месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была точно дорога́, а вместо ее выбрали кошку лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: всё было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было итти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки; он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как-раз в пору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому, что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель, и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем, Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякой миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже

усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле две выгоды: одно тò, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель, и что по крайней мере он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, чтò такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал-было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: „так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник.“ Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал-было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез тò случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Ой взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он всё усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, чтò ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно по крайней мере то, что чиновник жил в лучшей части города, стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника, улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками — напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали

улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на всё это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой однакоже всё-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: „ну уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...“ А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать всё, чтò он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели всё шинели, да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его: беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, чтò ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Всё это: шум, говор и толпа людей, всё это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он, просто, не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить, в честь обновки, по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однакож никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты,

отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице всё еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали однакож длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал-было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но однакож он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. „Нет, лучше и не глядеть“, подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. „А ведь шинель-то моя!“ сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел-было уже закричать „караул“, как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив: „а вот только крикни!“ Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно, и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого чорта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так

надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно итти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего итти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так-что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писарѐ ничего не посмели сказать и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели, или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю, — итак сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился по крайней мере помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель всё-таки

останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо* спишась и снесясь, с кем следует, может заставить успешнее итти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился итти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло всё порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на святой Руси всё заражено подражанием, всякой дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее „комнатой присутствия“ и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в „комнате присутствия“ насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. „Строгость, строгость и — строгость“, говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя впрочем этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе: завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: „как вы смеете? знаете ли вы, с кем говорите? понимаете ли, кто стоит перед вами?“ Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив; но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек, как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамилиарно, и

не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя впрочем кстати для *значительного лица*. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: „кто такой?“ ему отвечали: „какой-то чиновник“. — „А! может подождать, теперь не время“, сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляшке и приговаривая: „так-то, Иван Абрамович!“ — „этак-то, Степан Варламович!“ Но при всем том однакоже велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: „да, ведь, там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти“. Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенькой вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: „что̀ вам угодно?“ голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился, и как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время частиц „того“, что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с г. обер-полицмейстером, или другим кем, и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиарным. „Что вы, милостивый государь“, продолжал он отрывисто: „не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне ...“

„Но, ваше превосходительство“, сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом: „я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ ...“

„Что, что, что?“ сказал значительное лицо: „откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между

молодыми людьми против начальников и высших!“ Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало-быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет. „Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.“ Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата, болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: „А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог.“ Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого неизвестно, потому что он находился всё время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье и приговаривает: виноват, ваше превосходительство; то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, от роду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом „ваше превосходительство“. Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего

нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому всё это досталось, бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; — существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого всё же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос: „почему?“ выразился словами: „да так, уж он умер, четвертого дня похоронили.“ Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не всё об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь? Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему однакоже такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином

переулке схватил-было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку приморо́женный нос свой; но табак верно был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он точно в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: „эй ты, ступай своею дорогою!“ и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы однакоже совершенно оставили *одно значительное лицо*, который по-настоящему едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного распеченного в-пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на тò, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что, неделю спустя, он решился даже послать к нему чиновника узнать, чтó он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а чтò всего лучше, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек не молодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком, приходили всякий день целовать его

руку, приговаривая: bonjour, papa[1]. Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку, и потом переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: „к Каролине Ивановне“, а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все словà, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому немудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему однако же порывистый ветер, который, выхватившись вдруг, бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: „А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек — отдавай же теперь свою!“ Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: „у, какой характер!“ но здесь он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: „пошел во весь дух домой!“ Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в шесть с небольшим, значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом

[1] Добрый день, папа!

беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: „ты сегодня совсем бледен, папа.“ Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: „как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами“; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно тò, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города всё еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановись, спросило: „тебе чего хочется?“ и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: „Ничего“, да и поворотил тот же час назад. Привидение однакоже было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы, и направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

1839 г.

Александр Иванович Куприн. Повесть «Гранатовый браслет»

L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2).
Largo Appassionato

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах, вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.

Обитатели пригородного морского курорта — большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, — поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, ста́ившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

II

Кроме того, сегодня был день ее именин — 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть, и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой — наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры — Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая — Анна, — наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале

XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, — лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей — мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры — та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

III

— Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. — Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь — и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе — резедой.

Вера ласково усмехнулась:

— Ты фантазерка.

— Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий — вот тот, что пишет мой портрет, — согласился, что я была права и что художники об этом давно знают.

— Художник — твое новое увлечение?

— Ты всегда придумаешь! — засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

— У, как высоко! — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. — Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.

— Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

— Ну хорошо, хорошо, села... Но ты только посмотри, какая красота, какая радость — просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом — такими они казались маленькими, — неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми стройными парусами.

— Я тебя понимаю, — задумчиво сказала старшая сестра, — но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой... Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

— Чему ты? — спросила сестра.

— Прошлым летом, — сказала Анна лукаво, — мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады — как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось — я повисла в воздухе и

вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мине все это надоел. Каждый день видим».

— Благодарю за сравнение, — засмеялась Вера, — нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая... прохлада.

— Мне все равно, я все люблю, — ответила Анна. — А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

— Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, — очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

— Какая прекрасная вещь! Прелесть! — сказала Вера и поцеловала сестру. — Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

— В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать — листочки, застежки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

— Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? — спросила она.

— Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого...

— Как странно, — сказала Вера с задумчивой улыбкой. — Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet [1]. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

[1] Записная книжка *(франц.)*.

Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

— Ты велишь здесь накрывать? — спросила Анна.

— Да, я сама так думала сначала... Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

— Будет кто-нибудь интересный?

— Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

— Ах, дедушка милый. Вот радость! — воскликнула Анна и всплеснула руками. — Я его, кажется, сто лет не видала.

— Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать — и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе — ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов — заказал знакомому охотнику — и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной, — увы! — неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

— Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

— Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

— Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, — сказал он с особенной поварской гордостью. — Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. — Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер, вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масле?

— Делай, как знаешь. Ступай! — приказала княгиня.

IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе уменьем петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой — за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

— Точно... архиерея! — сказал генерал ласковым хриповатым басом.

— Дедушка, миленький, дорогой! — говорила Вера тоном легкого упрека. — Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

— Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, — засмеялась Анна. — Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

— Девочки... подождите... не бранитесь, — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. — Честное слово... докторишки разнесчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то грязном... киселе... ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидеться... Как прыгаете?.. Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

— Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

— Не отчаивайся... все впереди... Молись богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Постойте-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

— Я уже давно имел эту честь! — сказал полковник Понамарев, кланяясь.

— Я был представлен княгине в Петербурге, — подхватил гусар.

— Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время — как и до сих пор — он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, — неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, — черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, — сказал он, — но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877—1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то что был мало образован или, как он сам выражался, кончил только

«медвежью академию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре — легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, — это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных, во время балканского перехода, пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. — должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городовой, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» — хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой — сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как

не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось — тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват — ничего не сказал по телефону».

Когда у Шейных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, — тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы во второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста — двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.

— Что такое, Даша? — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. — Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

— Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. — Он пришел и сказал...

— Кто такой — он?

— Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный.

— И что же?

— Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

— Подите догоните его.

— Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

— Ну хорошо, идите.

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это — тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната — зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г. С. Ж.».

«Показать Васе или не показать? И если показать — то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после — теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

— Так нельзя! — сказала с комической обидчивостью Анна. — Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей — Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, — были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

— Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, — весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые, задорные татарские глаза. — Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

— На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? — вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами.

— Благодарю... Но самое, самое мое больное место — это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

— О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

— Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастие? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

— Гм!..

— ...поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними — ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, — так можете представить — они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово — и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

— Анна Николаевна, — серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. — Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

— Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, — расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николя Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

— Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. — Часть первая — детство. «Ребенок рос, его назвали Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.— Никогда меня никто не называл Лимой, — засмеялась Людмила Львовна.— Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот — критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний
провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня...
Как хочешь с ней разделывайся ты,
А я бегу в кусты.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

— Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, — объяснял серьезно Василий Львович. — Текст еще изготовляется.

— Это что-то новое, — заметил Аносов, — я еще этого не видал.

— Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

— Лучше не нужно, — сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения.

— Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии — она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, посте́ рестанте́».[2] Здесь,

[2]до востребования (искаж. франц. poste restante).

вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастию, — говорит он, — но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я, — увы! — я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов — наполненный его слезами...

— Господа, кто хочет чаю? — спросила Вера Николаевна.

VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла

бутылка его любимого красного вина Pommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства.

— Да-с... Осень, осень, осень, — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивал головой. — Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

— И пожили бы у нас, дедушка, — сказала Вера.

— Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленьких розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

— Спасибо, Верочка. — Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

— Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидал, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастию, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

— Дедушка, скажите откровенно, — попросила Анна, — скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?—

Как это странно, Анночка: боялся — не боялся. Понятное дело — боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а уменье держать себя от практики все возрастает; отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

— Расскажите, дедушка, — попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный,

неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому, древнему стереотипу.

— Рассказ очень короткий, — отозвался Аносов: — Это было на Шипке, зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

— Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, — сказала пианистка Женни Рейтер. — Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

— О, наш дедушка и теперь красавец! — воскликнула Анна.

— Красавцем не был, — спокойно улыбаясь, сказал Аносов. — Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачною водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! — это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу — пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

— Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? — спросила пианистка.

— Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это произошло так...

— Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — заметила Анна, лукаво смеясь.

— Нет, нет, — роман был самый приличный. Видите ли: всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что

перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

— И все? — спросила разочарованно Людмила Львовна.

— А чего же вам больше? — возразил комендант.

— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините — это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

— Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю — любовь это была или иное чувство...

— Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной любовью... неземной... Неужели не любили?

— Право, не сумею вам ответить, — замялся старик, поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся — и вижу, что я уже развалина... Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь... Гусар, — обратился он к Бахтинскому, — ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

— И я пойду с вами, дедушка, — сказала Вера.

— И я, — подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

— Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

— Смешная эта Людмила Львовна, — вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. — Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

— Ну как же это так, дедушка? — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. — Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

— Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит — грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконькие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь — за дверями этакие быстрые поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет... Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо...» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет... «Милый! Я давно догадывался... Ну, дай вам бог... Смотри только береги это сокровище...» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесаные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен... Слава богу, что детей не было...

— Вы простили им, дедушка?— Простил — это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему, Верочка.

— Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида... А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

— Ну, хорошо... скажем — исключение... Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной... К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей, и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, — я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете... нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано — «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой

подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

— Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? — тихо спросила Вера.

— Нет, — ответил старик решительно. — Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой... так... какая-то кислота... одна жалость... Если хочешь, я расскажу. Это недолго.

— Прошу вас, дедушка.

— Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая... Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок — морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим — все равно в будущем считай его погибшим. Это — штамп на всю жизнь.

К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем — «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы всё говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу — вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом — и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

— Ох, какой ужас! — воскликнула Вера.

— Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед

глазами и ей, и всему полку. И пропал человек... самым подлым образом... Стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петербурге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж — ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке — точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, — нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится — уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный — он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него богу молились.

Но *она* велела... Его Леночка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, — как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

— Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?

— О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается — и она *уже* мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни — всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества — поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де

Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

— О, конечно, конечно, дедушка...

— А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

— Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

— Разве вам интересно, дедушка?

— Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

— Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, — о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

— Да-а, — протянул генерал наконец. — Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а — почем знать? — может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

— Анночка, я захватил твои вещи. Садись, — сказал он. — Ваше превосходительство, не позволите ли довезти вас?

— Нет уж, спасибо, мой милый, — ответил генерал. — Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать, — говорил он, целуя у Веры лоб и руки. Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.

IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

— Я давно настаивал! — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. — Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

— Переписки вовсе не было, — холодно остановил его Шеин. — Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

— Я извиняюсь за выражение, — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

— А я не понимаю, почему ты называешь его моим, — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. — Он так же мой, как и твой...

— Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, — так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович.

— Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, — возразил Шеин.

— Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

— Не вижу, каким способом, — сказал князь.

Вообрази себе, что этот идиотский браслет... — Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, — что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там — глядишь — сядет на скамью подсудимых за

растрату или подлог, а князья Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

— Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! — воскликнул Василий Львович.

— Я тоже так думаю, — согласилась Вера, — и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

— О, это-то совсем пустое дело! — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. — Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как его, Вера?

— Ге Эс Же.

— Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

— Что ты думаешь сделать? — спросил князь Василий.

— Что? Поеду к губернатору и попрошу...

— Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения... Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

— Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

— Фи! Через жандармов! — поморщилась Вера.

— И правда, Вера, — подхватил князь. — Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках... Лучше уж я сам пойду к этому... юноше... хотя, бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию.

— Тогда и я с тобой, — быстро прервал его Николай Николаевич. — Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... А теперь, друзья мои, — он вынул карманные часы и поглядел на них, — вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.

— Мне почему-то стало жалко этого несчастного, — нерешительно сказала Вера.

— Жалеть его нечего! — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. — Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я.

А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

X

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

— Подожди немножко, — сказал он шурину. — Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем.

— Господин Желтков дома? — спросил Николай Николаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.

— Дома, прошу, — сказала она, открывая дверь. — Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.

— Войдите, — отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине — стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

— Если не ошибаюсь, господин Желт-ков? — спросил высокомерно Николай Николаевич.

— Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

— Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь:

— Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

— Благодарю вас, — сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.

— Merci, — коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. — Мы к вам всего только на несколько минут. Это — князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия — Мирза-Булат-Тугановский. Я — товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

— Я к вашим услугам, ваше сиятельство, — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич.

— Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. — Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

— Простите... Я сам знаю, что очень виноват, — прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. — Может быть, позволите стаканчик чаю?

— Видите ли, господин Желтков, — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. — Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

— Да, — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

— И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя — согласитесь — это не только можно было бы, а даже и нужно было сделать. Не правда ли?

— Да.

— Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? — кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было — обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что — повторяю — я сразу угадал в вас благородного человека.

— Простите. Как вы сказали? — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. — Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

— Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? — обратился он к Шеину. — Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

— Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. — Врываться в чужое семейство...

— Виноват, я вас перебью...

— Нет, виноват, теперь уж я вас перебью... — почти закричал прокурор.— Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

— Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?

— Слушаю, — сказал Шеин. — Ах, Коля, да помолчи ты, — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. — Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

— Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета была еще большей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, — что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть... Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

— Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. — Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

— Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

— Идите, — сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

— Так нельзя, — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. — Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

— Подожди, — сказал князь Василий Львович, — сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, — чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. — Подумав, князь сказал: — Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

— Это декадентство, — сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шеин.

— Я готов, — сказал он, — и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие — это я *вам* говорю, князь Василий Львович, — видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

— Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, — закричал Николай Николаевич.

— Хорошо, пишите, — сказал Шеин.

— Вот и все, — произнес, надменно улыбаясь, Желтков. — Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

— Оставь меня, — я знаю, что этот человек убьет себя.

XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо.

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей — для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя — это не болезнь, не маниакальная идея — это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: „Да святится имя Твое“.

Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами,

мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, — ну, что же? — ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, — о, как я ее целовал, — ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, — так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.».

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

— Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

— Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

— Он умер? — спросила Вера.

— Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

— Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

— Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

XII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

— Кого вам угодно?

— Господина Желткова, — сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм — шляпа, перчатки — и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

— Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там... сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот — семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.

— Я друг вашего покойного квартиранта, — сказала она, подбирая каждое слово к слову. — Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

— Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья — прислуга — приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

— Расскажите мне что-нибудь о браслете, — приказала Вера Николаевна.

— Ах, ах, ах, браслет — я и забыла. Почему вы знаете? Он, перед тем как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай — так он и сказал: милый обычай — вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

— Вы мне его покажете? — спросила Вера.

— Про́шу, про́шу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христиански. Про́шу, про́шу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-

то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев — Пушкина и Наполеона.

— Если прикажете, пани, я уйду? — спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.

— Да, я потом вас позову, — сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви — почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном:

— Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение...» — он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите...

— Покажите, — сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. — Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.И она прочла слова, написанные знакомым почерком: «L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato».

XIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

— Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, — и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так

совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: *«Да святится имя Твое»*.

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою — одна молитва: *„Да святится имя Твое“*.

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. *„Да святится имя Твое“*.

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. *„Да святится имя Твое“*.

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: *„Да святится имя Твое“*.

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою — слава Тебе.

Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю — слава Тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака... И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

— Что с тобой? — спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

— Нет, нет, — он меня простил теперь. Все хорошо.

1910 г

Андрей Платонович Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире»

(машинист Мальцев)

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, — даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу, — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, — лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание

хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на полатмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар. — Я думал — котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали, — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — и протянул руку к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, — сказал я следователю. — Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю, — произнес следователь, — вы говорите точно. Это все возможно, но не достоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, — рассуждал следователь. — Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог, — сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно, — улыбнулся следователь. — Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит, — подтвердил я.

— Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был, — подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю, — сказал я.

— Вот видите, — говорил следователь. — Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было, — сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного, — в медленном размышлении сказал он. — Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич, — сказал я ему, — почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел, — ответил он. — Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю — о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил, — ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, — это действие».

— Он прав, — сказал я.

— Прав, я сам знаю, — согласился машинист. — И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь, — сообщил я ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я

указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга, — сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан, — может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас. — Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла, — говорил мне следователь.

— Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение, — высказал я надежду, — как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал.

— Едва ли... Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали, — утешил я следователя. — Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья, — сказал следователь. — Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь, — объяснил я ему. — Вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает...

— Я вас понимаю, вы правы, — тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь... Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже, — сознался следователь. — Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

— Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, — я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, — дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я.

— Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет, — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.